

Б И Б Л И О Т Е К А

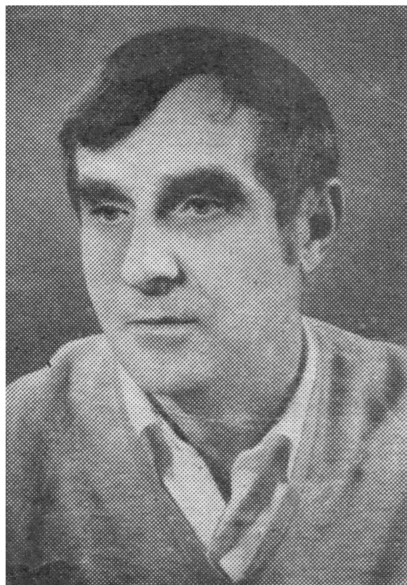
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 42

1981



Дмитрий ХОЛЕНДРО

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

П Л А В Н И

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 42

Дмитрий ХОЛЕНДРО

ПЛАВНИ

ПОВЕСТЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1981

Дмитрий ХОЛЕНДРО

Дмитрий Михайлович Холендро родился в 1921 году в Ташкенте. Из Московского института философии, литературы, истории был призван в армию, участвовал в Великой Отечественной войне, прошел путь от младшего сержанта, наводчика орудия до майора, корреспондента армейской газеты. На фронте вступил в КПСС, награжден орденами и медалями.

После войны работал в Крыму ответственным секретарем писательской организации, редактором литературно-художественного альманаха «Крым», а вернувшись в Москву, окончил Высшие литературные курсы Союза писателей СССР.

Основные книги: роман «Горы в цвету», сборники повестей «Ожидание», «Улица тринадцати тополей», «Голубое чудо», «Слобода», повести «Опасный мыс», «Кларенс и Джульетта», «Пушка», «Старый чудак», сборники рассказов «Дорога в степь», «Первый день весны», «Раннее утро», «Городской дождь» и другие. Пьесы Дмитрия Холендро шли во многих театрах страны, по его сценариям снято десять художественных фильмов. Книги писателя издавались в братских республиках и за рубежом.

Повесть «Плавни» печаталась в «Огоньке».

Лейтенант Зотов сидел на плоском ящике, вмятом в сырую кочку, и ждал Асю. Она, конечно, не придет, как уже много раз не приходила, но он будет терпеливо ждать. Если бы благоразумные отголоски его мыслей удалось перевести в слова, то получилось бы примерно вот что: «Ты с ума сошел, Павел! Да какое свидание может быть тут, в зоне переднего края? Чушь!»

Но он сидел и ждал, и зудение комара ласково въедалось внутрь существа, как одно из самых забытых воспоминаний.

Впрочем, чего-чего, а комаров в этом месте — до черноты в глазах. К вечеру они непроходимой гущей свисали с неба, прикрывая безвредное пламя заката над камышами. По-здешнему это место называется словом, к которому сразу привыкли как к самому подходящему. Кто и когда назвал так эту землю, почти напрочь залитую водой? Там, где воды не хватило, чтобы затопить ее сплошь, сухие клочки изрезало множество протоков и прожилок, ослепительных днями, а ночами исчерна-черных, если, правда, с неба не глазело огромное и низкое от любопытства око луны, окрашивая все рыжим сиянием. В тумане столетий лейтенанту представился мохнатый дедок из давних казачьих рыбаков, обронивший с утлой лодки точное словцо и даже не заметивший, как мудро получилось. И сам остался безмянным, а целому краю дал название: плавни.

Любая уважающая себя река перед тем, как навек исчезнуть в море, разливается в устье и стремится напоследок обнять побольше земли. Для этого она, как руки, и разбрасывает по сторонам свои протоки. Но что вытворяла Кубань, вообразить невозможно. Действительно, вольная река!

Не охватишь глазом заросли камыша, поднявшие к солнцу лезвия длинных листьев. Протоки разной ширины во всех направлениях рубили эти заросли солнечными саблями, а где-то камыш внезапно вовсе исчезал, и тогда нараспашку открывались разливы чистой воды, иногда изрыбленной ветром, как море. Вода прикидывалась если не морем, то морскими лиманами, плескалась длинной волной, но это все еще была Кубань. До настоящего моря рукой подать, в разгаре рассветов и закатов, нетерпеливо крича, над плавнями носились

чайки, залетавшие сюда за рыбой, но самого моря видно не было. За одним, другим, третьим разливом опять темнел камыш, начиная новые дебри, полные вечного шороха.

На такую прорву проток не доставало названий, и одну вполне серьезную реку, уходящую от Кубани на север, не только на военных, но и на обычных географических картах окрестили Протокой, превратив привычное обозначение в имя с большой буквы. Эта памятная Протока!

Лейтенант Зотов снова увидел берега, с обеих сторон огороженные будто крепостными валами выше головы. Из-за них, не дающих Протоке расползаться вширь, пока она огибала тихую станицу, в которой сады разрослись, как лес, к реке было не подобраться. Она текла в земном коридоре, все промоины, заманчиво зиявшие в этих валах, где поросших сивой травкой, а где лысых и осклизлых, немцы заранее пристреляли. Когда там и тут наши бросались к этим дырам, как к калиткам в станицу, то натыкались на зрячие пули. Пулеметы садили без промаха. И мины, послушней дрессированных, обкладывали каждый шаг.

Еще до атаки комбат Романенко сказал, что дело куда сложнее, чем кажется. Станица большая, немца в ней много. Он тоже не захочет сползать в плавни, где не на чем держаться, значит, будет остервенело драться. Чем его выбивать? Хочешь курить, носи и табачок и спички в своем кармане. Думаешь, перекрестки, дома, дворы ждут в станице? Шиш! Огневые точки, доты. Голыми руками их не взять.

Короче: на тот берег хорошо бы сразу прихватить с собой хоть минометы. А уж потом и пушки перепроятся, если отгрызем для них хоть крошечный плацдарм...

Обрывая речь, капитан Романенко часто говорил: короче! Тогда Зотов еще не знал об этой привычке... Только что прибыл сюда из далекого госпиталя, залечив свою первую рану. На новом месте заменил убитого командира минометной роты, приданной батальону. Ну, ясно, комбат сравнивал, приглядываясь. А сам с первых же слов пришелся Зотову по душе: лихой, толковый. Может ли быть сочетание завидней — лихой умница? Романенко же, обогревая новичка, перешел на «ты»:

— Ну, ты понял, надеюсь? Возьмешь свои «самовары» и пойдешь с атакующими.

— Лодки мне дадут?

— Какие лодки? — усмехнулся капитан. — Немец угнал их в плавни. Может быть, для надежности потопил. В лодках любой дурак перепроятся. Короче: никто ничего не даст.

— На чем же тогда через Протоку?

— Подумай! — ответил комбат отчужденней: ему хватало о чем заботиться. — Не придумаешь — поплывешь на животе.

— С минометами?

— Честно скажу, меня миномет интересует куда больше, чем ты сам. Вывихни мозги, а минометы доставь.

Нетрудно было догадаться, что его отпускали для полководческих размышлений, но Зотов никуда не ушел, а задумался, тряся головой, как, бывало, в такие минуты тряс дома отец, и мама говорила: нервное. Понимала — врач. И приносила глоток какой-нибудь успокаивающей микстуры, отец, не глядя, выплескивал на пол через плечо, а она опять приносила, пока он, сморщившись, не проглатывал с маху, чтобы отделаться.

— Не узенькая Протока... — шептал Зотов. — А глубина — с головкой...

Романенко не отвечал, будто ждал от лейтенанта сногшибательного предложения, а не услышав, потерял к нему интерес. На войне ни у кого нет времени для пустого интереса.

— Плоты навязать? — спросил Зотов.

— Из чего?

— Из бревен.

— А где они? В нашем районе один-единственный мост через ерик.

— Трухлявый.

— А разобрать и тот нельзя! По нему войска тянутся. Сколько еще будут рисковать, пока саперов дождутся? Дороги!

С начала марта на кубанские равнины хлынула ранняя распутица, затопила их грязью, как лавой из невидимого вулкана. Даже местные старики дивились распутице, не понимая, что никогда по их просторам не прокатывалось столько колес, не топало столько ног. Войска сами превращали землю в месиво. И сухих мест поблизости не было...

Волоча пудовые комья на каждом сапоге, не останавливалась только пехота и перла с собою все, что могла. Древняя нога демонстрировала превосходство над еще молодым, на вековой счет, колесом. Артиллерию к Протоке притолкали. Правда, больше половины орудий сиротливо утопало в грязевом потоке, а у тех, что заняли позиции, запаса снарядов — на один бой. Машин со снарядами не могли сдержнуть с места и тракторы.

Саперов ждали с бревнами, которыегодились бы для ремонта мостов. Но и бревна где-то заплывали черноземной жижей.

Тем злее становились войска, и капитан сказал, когда Зотов спросил, а много ли у них времени:

— Ни капли. Станицу будем брать с ходу, уверен! Не дадим немцу опомниться!

— Столкнем в эти гнилые плавни, — забиячливо подхватил Зотов, — а там и в море!

— Не дай бог, — возразил комбат. — Окружить его надо, уничтожить. До плавней, до моря.

И Зотов еще раз удивился собственной несметливости. Конечно же, уничтожить здесь, чтобы не драться в камышах, на воде. С обидой

и болью он спросил себя, отчего так тяжела его мысль. И самое обидное, что внешне он был тонок, и скор на ногу, и быстроглаз, а мысль его осматривалась и обживалась неспешно...

Солдаты, самый приметливый народ, за эти месяцы в плавнях не без иронии дали своему лейтенанту кличку «Задумчивый». Тощий и смущенный, носил он эту кличку вроде какого-нибудь эсминца, хотя и воевали они здесь, на воде, без флота...

И никто не знал, почему он ходит такой задумчивый.

Ася не появлялась. Напрасно он примостил на кочке пустой ящик от мин, подготовил для нее место посуше, как на скамейке где-нибудь в парке культуры. У него была минута-другая, а то и третья вспомнить, как он додумался перешагнуть Протоку с минометами, которые пехтура давно и охотно называла «самоварными трубами», а то и еще проще — «самоварами», и с их нелегкими опорными плитами, «пятками» для этих труб. Вот так же одиноко он сидел тогда в кустах, на ящике из-под мин, тоже имевших у солдат свое прозвище: «огурцы», а по вязкой тропе, безостановочно перемешивая ее, солдаты несли в охапках, на плечах, на головах, на спинах камышовые снопы...

До настоящих плавней от Протоки было не близко. Еще одна станция, забитая гитлеровцами, как муравьями, лежала на самом пороге плавней последним земным пристанищем, ощетинившимся в нашу сторону дулами пулеметов и орудий. Но камыш и у Протоки обступал озерца, потихоньку превращавшиеся в болота, топорщился вокруг луж, будто плавни выслали его на степные просторы в разведку: нельзя ли тут укрепиться?

Было где солдатам нарубить камыша, орудяя своими махонькими саперными лопатками вместо топоров. А рубили его, чтобы ладить плотки: слой так, слой поперек, садись и кочуй через Протоку. Солдаты молча несли снопы, только камыш шуршал, когда его перекладывали с плеча на плечо. В воде он намокнет, потяжелее, но, в общем, каждый плотик дотерпит до того берега, донесет одного или даже двух...

А вот миномет с собой не возьмешь, потопишь. А еще — мины. Без мин к чему эта труба? Не самовар же в самом деле ставить... А если подпереть камыш бочками? По две на плотик! Хотя бы четыре бочки, можно ведь и не раз сплавить туда-обратно, чтобы перевезти все минометы. Бочки! Да где они?

С этим вопросом он не вернулся к комбату, чтобы тот не погнался. Бочки здесь были в цене не меньшей, чем лодки, и педантичные немцы, небось, не дали маху, все бочки порубили и пожгли. Но, оказалось, дали... Минометчики Колпаков и Лаврухин, покашляв в ладони, сказали, что немного, но четыре бочки найдут. Недалеко в виноградишках, оплывших грязью, в ветхом сарае валялись корзины-плетенки, и ржавые весы, и бочки, как раз четыре. Откуда они там?

— А черт ё знает! — пожал плечами круглый Лаврухин.

Колпаков же, худенький и жилистый, выплюнув изо рта кончик самокрутки, докуренной до самых губ, улыбнулся:

— А чего ж ты в бочку из карабина пулял?

В бочках бродило вино. Прошлым летом их не успели увезти из виноградарского сарая и положить в колхозном подвале на законное место, а на вопрос, как же это фрицы не коснулись бочек, Лаврухин воздел растопыренные руки к небу:

— Так сарай плетенками завален до потолка! И грязюка!

Колпаков же, шмыгнув носом, добавил с сожалением:

— А вино смердит. Ужас!

— Свежее, потому и протухло,— объяснил Лаврухин.— Не укрепились на жару.

Скисшее вино выпустили в грязь, понапрасну пробуя из каждой бочки: оно не становилось лучше. Колпаков, оказавшийся сельским плотником, починил бочку, продырявленную пулей друга, и вечером Зотов доложил комбату, что готов к переправе, а ночью, когда наша артиллерия, ненадолго озарив полнеба взблесками, придавила станичные огневые точки, минрота, волоча свои минометы, плотники и бочки, прорвалась к Протоке.

Уже отчаливали, когда из темноты вдруг вылепилась девушка. И осветительная ракета вспыхнула будто бы в ее честь и, замерцав, повисла над головой. Все застыли, а девушку, похожую на школьницу, переодетую в гимнастерку и сапоги, это не смутило, она, не останавливаясь, сиганула на плот, отплывший от берега.

— Куда? — вырвалось у опешившего лейтенанта Зотова.

— С вами,— неласково ответила девушка, и голос у нее оказался донельзя сиплый.

— Чей приказ?

— Мой,— ответила она.

Лаврухин торопливо растолковал, теснясь на плотике:

— Это санинструктор, пригодится. Не бойтесь!

И замолк, а Колпаков начал отталкиваться шестом. Пока еще шест из жерди, отодранной в том же сарае, доставал до дна. На случай глубины вырезали веслица из горбылей, добытых там же,— сарай догола раздели. Колпаков все живее двигал шестом, уходя из-под мерцания ракеты. Чудная санитарка, вдруг прибежала и без предупреждения — прыг! Все же полагалось бы спросить, есть тут у кого. Зотов довольно мирно пробурчал об этом, а она отозвалась так, будто голос ее поморщился:

— Заткнись! — И обратилась к Колпакову: — Кто такой?

Тут только лейтенант сообразил, что он в плащ-палатке и знаков отличия не видно, а лицо у него мальчишеское.

— Командир роты лейтенант Зотов,— представился он наспех в темноте, куда Колпаков все же задвинул плотик, а она ответила коротко, будто ей не хотелось говорить:

— Ася.

Лаврухин защитно добавил по форме:

— Санинструктор Панкова.

Посреди Протоки и состоялось их знакомство.

Но в ту минуту Зотов думал уже не о ней, а о том, как быстрее открыть минометный огонь, потому что артиллерия смолкла, как видно, исчерпав снарядный запас, и в станице снова стали оживать огневые точки. Высадились, стреляли, и комбат кричал, что возьмут станицу и он его, Зотова, представит к ордену, но станицу не взяли, пришлось возвращаться, спасать минометы. Комбат еще перед боем повторил указание полкового начальства: «Короче — за каждый «самовар» отвечаешь головой!» После весенних боев «самоваров» в роте осталось шесть, а голова у него была одна, арифметика складывалась не в ее пользу. Батальон за одну ночь потерял едва ли не половину состава, толстые и черные пиявки комбатовских бровей осели на глаза.

Ко всему прибавилась еще беда: Ася пропала. Девочка, козявка, много ли ей надо? Она сразу же исчезла с глаз в темноте, едва пристали к берегу, занялась своим делом. Уже покидали берег, на котором не пробыли и часа, а санинструктора не было. По земле, изрываемой минами и снарядами, будто фашисты жадно расширяли Протоку, Зотов дополз до комбата, уходившего с берега последним, как капитан с тонущего корабля, и крикнул, что нет Панковой. Но капитан обругал его матом.

— Переправляйся, сопля!

Днем Ася спала в палатке комбата, свернувшись калачиком. Зотов, позванный доложить о потерях, устался на нее. Спала Ася до зависти сладко, и лицо у нее было отрешенным от страшной ночи. Верхняя губа приподнималась, помогая дышать, и казалось, девочка улыбается. Зотов поразился. Все ему думалось, что девочка, переодетая в гимнастерку, — это случайный подарок ночи. Ан нет! Он засмотрелся, и Романенко, взрычав, напомнил:

— Я дождусь? Как у тебя?

— Потерь никаких.

— А минометы?

— В целости.

— Ах ты, Зотов, да ты ж счастливчик! — воскликнул комбат, который радовался так же легко, как и гневался.

Лишь в конце месяца, когда по распутице все же подтащили артиллерию, накопили снарядов и саперы накрыли реку сотнями плотов на привезенных бочках, немец не выдержал нового удара по станице, и Протока осталась позади.

Правда, в грязи по грудь обходных маневров не вышло. Захватили последнюю станицу перед плавнями, затолкали врага в плавни и... сами завязли в их душной глубине. До рыбацкого города Темрюка,

маячившего где-то впереди, на твердом перешейке, как на мосту между плавнями и морем, пока добирались лишь птицы да самолеты...

Привыкали к небывалой войне. Пушек тут ставить было негде, да и не нужно. Пушки потеряли свою грозную силу, будто вдруг стали енухами. Их снаряды тонули в жиже и взрывались где-то там, в вонючей прорве. Бугор пузырящейся мути вспучивался над взрывом, да изредка, чтобы тут же упасть и утонуть, вылетали грязные кусочки железа, слабые, хоть рукой лови. Поселившаяся в плавнях пехота прозвала эти снаряды «утопленниками».

Вот мины — те рвались от первого соприкосновения с водой, у них взрыватель чуткий, как спичка. Минометы стали в плавнях куда страшнее пушек, и Зотов радовался, что его «самовары» заволокли в болота. Выбрали для них более или менее твердые пятки земли, застелили, чем удалось, короче, сотворили подкладку и стреляли. Но если без достаточной поддержки пушек сразу не одолели Протоку, то как же было перемахнуть через плавни? Их ведь не десять шагов, а десятки километров!

Иногда проводили малые вылазки, но порой и они надолго затихали, будто в войне наступал антракт. Конечно, это было дико, какой антракт может быть в войне?

Но и этим вечером не стреляли, и он слушал, как зудит комар в самом ухе, и ждал Асю. Когда он первый раз позвал ее на свидание, она, вытаращив глаза, посмотрела на него, как на недоумка. А он, конечно, улыбался. Он всегда улыбался от смущения, но тут уж ничего не поделаешь.

Жизнь здесь, в плавнях, лепилась к кочкам. Люди лепились к кочкам, как комары, и тогда, на первое свидание, он тоже приволок на кочку пустой ящик от мин. Ждал, может, Ася улыбнется, но она глянула без улыбки. И села, сжавшись, то ли чтобы прочней удержаться на нетвердой подставке, то ли чтобы и ему дать место, то ли чтобы не так проникала в тело зябкая сырость сумрака. Да, лето промахнуло в этих плавнях, до последних дней...

Они сидели тогда, может быть, пять минут, может, полчаса, пока под ящиком, продавившим кочку, не чавкнуло взасос и в оранжевом луче лунного света юркий лягушонок не унес с собой что-то таинственное и простое, из детских дней. Над плавнями ночным солнцем катился оранжевый диск луны, и за каждой стеной камыша она снова отражалась в каждой луже, будто в плавнях жили тысячи лун. Ася вдруг рывком поднялась и сказала:

— Я пошла.

И лишь тут он сообразил, что до сих пор молчал, что не сказал за это время ни слова, ни главных, ни полглавных, и, когда медленно выпрямился, она прибавила:

— Сиди.

Ну да, не успеешь оглянуться, как из-за камышей, рассыпающих кипящий шелест, вынырнет фигура, замотанная в плащ-палатку, и приоткроет любопытный глаз, обложенный припухлостями от вчерашних укусов. Комары тут кусают насмерть, но любопытство — бессмертная вещь. Поэтому Ася и велела ему сидеть. Как же она благородна, маленькая!

А он даже не успел спросить ее, придет ли она еще. Хоть самому себе не верь, но первое свидание в его жизни прошло бессловесно. А может быть, до жути скучными почудились Асе эти молчаливые минуты? Но что же делать, если он и на твердой земле еще не намолчался от счастья?

С тех пор как он увидел Асю спящей в палатке комбата, он не сомневался, что это вот и есть оно самое. Он же не виноват, что их встреча произошла на войне, посередине Протоки... Он так бы и смотрел на Асю издалека, радовался ей, и только. Но случилась невероятная остановка в плавнях, и он не выдержал. А может быть, она просто посчитала его безруким, трусливым. Да, трусливым юношей с пистолетом на боку. Нет, Ася не такая... Он снова звал ее посидеть в камышах на ящике. Она не отвечала и не приходила. И, видно, сегодня он напрасно ждет.

Все они научились тихо ходить по кочкам, по «сушкам», как называли здесь пятачки относительно стойкой земли. Эти ее клочочки в самом деле «сушки», а не суша. Но как тихо ни приближайся, привычное ухо уловит шаг. Тем более его ухо Асин шаг...

Кто-то ступил на кочку, плеснув водой. Развел камыш, послышалось сухое верещание. Зотов встал, унимая сердце, но, может быть, это и не Ася? А глупое сердце рвалось навстречу легкому шагу...

Луна сегодня еще не выкатилась, и сумрак был зловеще темен, но все же он слухом угадал, кто подходит, и окликнул:

— Ася!

2

Сначала комбату мерещилось, что его с солдатами, которых было не так уж много, заманили на остров, еле слепленный из болотных кочек, и взяли в круг, как в плен. Из-за размашистого кольца воды красными точками летели трассирующие пули. Со всех сторон. Только-только начало смеркаться, и немцы спешили показать, что они всюду.

Он метался по камышам, скалил свои белые зубы и повторял про себя: «Пришьют!» Странно, но сейчас, лежа в палатке, он как бы со стороны видел свое лицо, опаленное жарким дуновением плавней, и, блестя до какой-то иступленной, искусственной, неживой яркости, в смуглой оправе всю белели зубы.

Нашли этот тухлый остров разведчики. Горсти гильз по-свежему золотились в черной слякоти, не успев заржаветь. Значит, враг ушел минуты назад, не больше. Но почему ушел? Он догадался. Сначала слабым, а потом и вовсе притихшим огнем их обманули, вытащили из камышей, чтобы перестрелять. По острову, как по цирковой арене, где, однако же, убивали всерьез, уже открыли огонь далекие минометы...

Сжавшись на топчане под двумя байковыми одеялами и шинелью и все равно не в силах согреться, он дрожал, и угадывал приближение мин, и слышал, как они грохали, натываясь на гранит воды. Визг осколков заставлял его ворочаться с боку на бок, и это было противно до омерзения.

Он, комбат, нередко сам водил своих солдат в вылазки. Его замполит каждый раз бранился, забывая, что это не с неба свалилось, а было у Романенко в крови, в характере, невыдержанном, говорили еще до войны в полку, или бойцовском, как хотите, так и считайте. Отряд атаковал остров на камышовых плотиках азартно и, конечно, успешно. Еще бы! Этого и хотели немцы. Теперь задача переменялась — вырваться из ловушки.

Впервые тогда с тоской и досадой подумалось, что замполит прав: ради болотных кочек, которые на карте не найдешь, батальон мог остаться без командира. Да не ради этого, а ради того, чтобы доказать немцу к себе, что даже в болоте он не будет сидеть покорненько, как червь! А все равно эту вылазку назовут легкомысленной...

Хорошо, что было не на самом деле, а мерещилось...

Мины рвались гуще, и он поплыл... В глубине камышей он оставил ручной пулемет, у которого дежурил лучший из всех пулеметчиков, каких довелось ему встречать на войне, грузин Гогоберидзе. Гога первоклассно стрелял. К этому главному в солдате умению он, Романенко, добавлял еще одну простую примету: как долго солдат живет в батальоне. Впервые Гогоберидзе прижал к своему плечу тяжелый приклад «дегтяря» с железной, набитой патронами тарелкой наверху под Малгобеком. Было это почти год назад, долгий год с зимой и дождями, когда немец, как псих, рвался вдоль Терека к Каспию, потому что там была нефть. Рвались гитлеровцы и к городу Орджоникидзе, давнему Владикавказу: кто его хозяин, дескать, тот и Кавказом владеет. Это горные ворота Военно-Грузинской дороги, в конце концов сбегаящей к той же нефти. А через год оказались в плавнях, далекоенько и от Терека и от нефти...

Во время боя за остров Гогоберидзе со своим помощником из новичков ждал зеленой ракеты, на случай если придется прикрывать огнем вынужденный отход отряда. Но батальонного ординарца убили, и он исчез под водой вместе с ракетницей. Как не было! Тогда еще не осознали, что здесь надо в каждую вылазку брать с собой две-три ракетницы и запасные давать самым живучим, а то... Короче: второй ракетницы не было, не из чего было дать сигнал, и он вплавь ринулся

к пулемету, о котором еще не подозревали немцы. На Днепре вырос и плавал, как рыба. Плавать-то плавал, да уже больше в памяти, и едва дотянул. Сердце лупило в уши бешеными толчками. Точь-в-точь как сейчас... В камышах он доплелся до пулемета и увидел Гогоберидзе. Тот был привязан к плоту ремнем под горло. Длинные черные усы едва высовывались из воды, прикрывавшей рот. А глаза были открыты.

С другой стороны плота таращились еще одни, выпуклые, застывшие в страхе, но живые глаза.

Романенко схватил солдата за шиворот, хотел ударить от горя по этим неподвижным, как у куклы, глазам, однако они мигнули. И он удержал себя и спросил:

— Как зовут?

— Пышкин.

В обе стороны на воду выкатывались синие булки щек. Да, природа, она даже фамилий не дает случайных. Пышкин так Пышкин. Он снова глянул на мертвого Гогоберидзе.

— Мина, — сказал Пышкин. — Сразу, как вы в атаку.

— А тебя задело?

Пышкин отрицательно поводит головой.

— Значит, он один все осколки взял, свои и твои.

Пышкин кивнул, чуть не подцепив воду курносым носом.

— Встать!

Пышкин опять мигнул, выдавливая страх из своих глазенок.

— Мне страшно.

— Выполняй приказ!

— Страшно, что плот утонет, — поправился солдат. — А младший сержант же... Я плот плечом держу.

— Вот как надо!

Они уже приспособились в плавнях пригибать камыш по кругу, связывать узлом, и получалось кресло — можно и присесть и даже прилечь для отдыха. Можно и Гого положить. Романенко перенес пулеметчика на неистово ловко скрученную им связку, откинув из-под его горла ремень, а Пышкин прибавил:

— Одной рукой пулемет держал, а другой его привязывал, — и покосился на безмолвного Гого. — Страшно было отойти хоть на шаг. За того страшно и за того...

Конвульсивная улыбка шевельнула губы комбата:

— А за себя?

Уже перетянули плотик на другую сторону камышовых зарослей, к другой воде, из-за которой вырастал павлиний хвост трассирующих нитей, и Пышкин сознался:

— Самому-то страшней всех. Что ж я, святой?

— Не ври! — оборвал комбат. — Удрал бы!

— Так я еще могу. Держите крепче.

— Сейчас в такое место суну! Перестань дрожать!

— А это я от холода. Сыро тут...

Оттого-то и щеки у Пышкина были синие, черт возьми!

Он кнул Пышкина под разодранный плотик и стрелял, можно сказать, с плеч солдата, на себе державшего камышовую площадочку с пулеметом. Над его головой стрелял, пока из ушей у того, изламываясь и виляя, не поползли струйки крови. Комбат не сразу заметил их, потому что Пышкин терпел. А заметив, сменил его, стал держать на себе остатки плотика, а стрелял этот диковинный Пышкин.

Презабавный он! Уговор никому не рассказывать, как палил из пулемета со спины капитана, до сих пор не нарушил. А то ведь и солдаты есть глупые, потешались бы над своим комбатом, и начальство есть разное, могло, прослышав, и наказать...

Десантники тогда ушли с острова, двенадцать человек. Трех взяла вода, а Гогу, как звали его в солдатской семье, увезли на плоту в батальонный стан и еще дальше, на твердую землю, и зарыли на станичной площади...

Как тебе там, Гога? Степь не родные места, конечно, не горы, которые аж под тучами, но все же и не топь, где весь век лежи один и никого не дождешься. Никто к тебе не придет. Никогда. Чего молчишь? Гога! Гога!

До отказа приподнявшись на руках, Романенко кричал. Сердце его все еще колотилось, пробиваясь на волю, но тише и тише. Стало ровней и дыхание... Он открыл глаза.

Ничего ему не мерещилось. Все так и было. Давний бой. Один из тех, что учили их болотной войне. После этого боя до его батальона добрался корреспондент, при трескучей плшке полночи писал карандашом, ломающимся в худой и юркой руке. Хватило на статью за подписью Романенко. По всем строчкам, как семена в грядки, разбросали умные советы: «В плавнях за версту слышно, поэтому все делай тихо», «Не бойся окружения, круговая оборона тут — норма», «Врага не видно, но ведь и тебя не видно!», «Вроде один воюешь, а вышел на «сушку» — рота!», «Поднимай камыш за собой, не оставляй хвоста, попадешься», «Разведка до дна, прощупал дно — пошел»...

Хоть книгу издавай на будущее, да авось не доведется воевать здесь больше, не нужна она, твоя книга, где все слова облиты кровью. А командира разведки Рябинина не убили, не ранили, а вчера увезли в госпиталь — малярия. От комара.

Мама Галя, дала бы ты мне кружку молока с печи. Согрела бы меня. Слышишь, мать?

Романенко вновь закапывался в одеяла, а мать была уже рядом, клонилась к топчану: «Слышу, слышу...» И, горюя, спрашивала, что же он выбрал себе такое место для войны, а он бормотал горящими губами, что война нигде не бывает доброй, другим не легче. И молил,

и ждал глотка молока, и явственно ощущал прикосновение самой дорогой на свете, материнской руки. И по-мальчишески ежился от щекотки, потому что от ее пальцев щекотало под мышкой, но потом перестало. И, боясь, что мама Галя не услышит его объяснений, почему он оказался здесь, и уйдет, он заторопился все растолковать...

Распутица все крепче хватала за ноги. И враг, как бес, выскальзывал из обхватов раньше, чем они замыкались. И откатился до рубежа, куда заранее сгоняли тысячи людей рыть и строить. От Кавказского хребта до размытых азовских берегов, от гор до болот протянулась линия, которую фашисты назвали «Голубой». Не удивляйся, мать, их бьют, а они в красотах изощраются. И не в том дело, что речушки и реки выются по этой линии, а вода в них голубая. У немца, как горная дивизия, так какой-нибудь «Эдельвейс». Побили их на Тереке, вот и «Долина смерти». Прячут свои прорехи за разукрашенной вывеской или гримируются слезой. Дешевки! Одним словом, мечане.

А «Голубая линия» скорее похожа на дерево покрепче дуба. Корни — каменные, в горах, ствол — железный, а крона — пышная, в ней наши плавни. И малярия. У меня ее нет, мама, слышишь? «Слышу, слышу...» Я знаю, как с приступами бороться. Голова пылает, самого выкручивает наизнанку, а я вспоминаю что-нибудь самое знакомое, чтобы не сбиться. Скриплю зубами до крошева во рту и вспоминаю...

Летом пушки грохотали до хрипоты в небе, и мы в плавнях слушали неблизкий гул с надеждой: вот прорвут эту самую «Голубую», фронт потечет в прорыв. И мы наконец выползем из своих болот, обросших камышом и мхами. Хотелось на твердую землю, как на волю. Душа просилась воевать, она-то мхом не обросла. Кто это сказал, а мне запомнилось? А, это замполит мой... а имя вылетело из головы! Я же люблю его. Мы ругаемся часто, но мне другого не надо. Он кубанку носит и о бурке мечтает для форса. Мальчишка! Я-то уже старый, у меня сын растет, пишет из дома, начал брюки надевать, из моих перешитые, за спиной — деревянная винтовка на шпагатине.

Ты так и не видела своего внука Федьку. И жили недалеко, от Днестра до Днепра ночь пути в поезде, да служба, в сорок первом, летом, собрались наконец к тебе, подарков припасли, а тут... И наши семьи увезли на восток, далеко, а ты осталась в приднепровском селе, где стояла на улице цыганка в зеленой юбке.

Мы три года не виделись. Я уж старый, скоро все тридцать, а замполиту меньше. Но о душе толково сказал. Вот вылазки. Для чего они? Мох сдирают с души.

Ох, мать! Не знаю, как у других, но до чего же стосковалась по обычной земле душа! А здесь? И обычную землю немец перековал. Отрокочут орудия, танки и пехота двинутся в бой, ведут его день, два, три, слышишь, как гремит? «Слышу, слышу...» А потом, мама?!

Какая-нибудь извилина в передовой углубилась на километр-два... Эта их «Голубая линия» до сорока километров толщиной, да! И на каждом вершке — бородавки огневых точек. Вся земля в бородавках. Не брежу. И господа бога не зови, не поможет. Чем быстрее бежал от нас немец, тем больше становилось у него танков, орудий, пулеметов.

Мы гнали его вдоль всего хребта и в конце концов загнали на узкий треугольник земли, как в сачок между горами и морем. Хваленые армии, еще недавно растянутые длиннее чем на тысячу километров, теперь стиснулись, фронт стал впятеро короче и толще. А значит, и мощнее, хоть потрепали мы врага изрядно. Не вообще мощнее, конечно, а как я, военный, могу сказать — на единицу простора. Понятно?

Мать кивала: поняла. И, кивая и отлетая, стала расплываться в сиреневых кругах, вертящихся перед глазами. Мама Галя! Куда же ты? Куда она? Сейчас ее рука была... Романенко обхватил колени, чтобы унять трясучку, но, когда удалось и он приоткрыл глаза, ожидая увидеть мать, перед ним как-то косо сидел слепой старик, высушенный до прозрачности, одетый в нижнее белье, на рубахе вместо пуговиц завязки из тесемок и шнурков. А мама Галя? Для чего мне слепой старик... зачем он, откуда? Белье на нем серое. Седые курчавины лезут на воздух из-под рубахи. Уставив желтые бельма, спрашивает бледными губами:

— Ты кто? Тут нерусских много. У меня в дружках узбек и азербайджан. Подходят, покурить дают.

— Сейчас закурим, дед.

Свернули табачка из пластмассовой мыльницы, и комбат сквозь кашель ответил старику:

— Говорят, цыган я!

— Эка! Кто ж говорит?

— Мама Галя. Мама Галя! Это правда, что цыганка оставила тебе меня, больного? Дня через три сама отстала от табора, прибежала, да меня уж в город, в больницу увезли. Лет через пять топаю я по нашему селу из школы... стоит цыганка в зеленой юбке, раскинутой до земли шатром, и так смотрит, что я свернул за ближний дом, задал деру в поле и стал там жить. Как суслик. Грыз зерна из колосьев. Цыганка перепугала. А я тебя люблю, мама Галя. Не знаю, дед, кто я.

— А имя у тебя какое?

— Марат.

— Ну, цыганское! — сказал старик, хотя в селе уверяли, что записали Галиного приемыша Маратом в честь французского революционера. — Цыган!

— А вы-то, отец, зачем ко мне?

— Когда Гастагаевскую освободят? Скажи по знакомству.

И Марат уронил руку к насквозь сырым доскам пола, у которых тут же затух окурок в пальцах, и припомнилось...

На кривой табуретке, подпертой с одной стороны суковатой веткой, сидел этот старик посреди своего двора в той самой станице, что раскинулась у самых плавней. Полтора месяца назад батальон выводил в эту станицу отдохнуть, очиститься от гнилой грязи. Народу было там, как на ярмарке. Медсанбаты, почтари, хозяйственники всех родов и еще какие-то части на отдыхе, соседи по плавням. Шептались: совсем или не совсем их вывели из этой бездны? Пусть хоть куда угодно перебрасывают, в любой ад, только не обратно.

— Он-то молчал на этот счет, знал: вернут. Будь он командиром постарше, сам вернул бы всех. Новым — осваивать здешнюю войну, а эти уже знали почему фунт лиха, привыкли. К полутеплой каше, будто ничего другого и не ели. А про комаров говорили: зуммерят, как о телефонном сигнале...

Сейчас в плавнях и позиции совсем другие, с первыми не сравнить. Как бобры, солдаты сгребли по крохам землю и на «сушках», сросшихся в «связки», воздвигли настоящие крепости из брусков липкой земли. Камыш залег меж ними арматурой. Повырастали дамбы с бойницами. Кое-где по дамбе тянулась и колючая проволока. Были и разрывы, в которые иногда, как рыбы, проникали разведчики, чаще наши — туда, в залитые водой, заросшие камышом чужие тылы, немец, тоже построивший себе дамбы, сидел тише, не рыпался.

Против его батальона немец повыжег перед своей дамбой камыш от паники. Ждал и боялся нашего наступления. Наступать не терпелось, но как?

Еще шептались, а может, совсем уведут людей из плавней, сколько можно воевать по горло в воде? Короче, к чертям эту войну! Недотепы. И мы и противник держим друг друга подальше от берега, потому что берег — это возможность прорыва. Не уведут! Однако также ясно было Марату Романенко, что солдаты живут в плавнях, чтобы драться, а не комаров кормить.

Там, за плавнями, лежали Таманский полуостров и еще несколько кубанских станиц, в том числе и Гастагаевская, откуда слепой старик ждал невестку с внуками. Сына он проводил на войну, бабу схоронил во время оккупации и теперь сидел на старой табуретке посреди двора и ждал своих. Если кто в живых остался... Ближе всех была невестка, так уж вышло, что накануне освобождения его станицы она с детьми ушла в Гастагаевскую проводить родных, да там и застряла поневоле. Старик сидел перед калиткой, сделанной из спинки от железной кровати. Подгнивший забор весь рухнул, как сдуло, а калитка чудом еще держалась на двух ржавых трубах, вбитых в землю вместо столбов, и ждала, когда ее откроют. Может, сам сын придет?

На старика не действовали угрозы, что надо перебраться туда, где люди, которые не оставят в беде.

— А как же меня сын найдет? — отвечал он. — Нет уж, тут я...

Кормили старика солдаты. Иногда он откидывал голову, отрывался от калитки и смотрел на солнце, как зрячий смотреть не может. И шептал, что и солнце стало другим, едва свои пришли. Солнце было такое же, как всегда, но он не соглашался:

— Я-то знаю!

Ну, вот и ты испарился, дед, не дождавшись моего ответа. Отпустила меня ваша малярия, ведьма болотная. Не успел я тебе сказать, что скоро и Гастагаевская наша будет. Не зимовать же здесь. А уже сентябрь на носу. Вот-вот где-то решительно начнется, где — не знаю, но вот-вот...

Корючило его часа три, и в палатке уже стемнело, значит, наступил промежуток между солнцем и луной. Какая тишина завалила бы плавни, если б не комары и лягушки! Комары облепили палатку и точат. Пусть себе. В палатку не заберутся.

Хорошую палатку поставили солдаты своему капитану. Нашли в станице толстые доски на пол, а к входу прилепили длинный коридор из плащ-палаток с марлевыми завесами по ходу. Лужи сквозь щели в полу еще просачиваются, а комары в палатку — нет. Какой-то малярик цапнул его на воле...

Иногда казалось, что палатка плывет, так и не выплывая никуда, будто она плыла не среди камышей, а вместе с ними и не было ей выхода ни в море, ни к берегу.

Сейчас без зова явится ординарец Марасул и включит лампочку, алюю... как звезда в небе. О если бы! Красней помидора. Она наливалась этим помидорным соком от аккумулятора, когда капитан собирал командиров на совещание, ужинал или вставал после приступа и брился. Марасул ухитрялся, не нарушая маскировки, где-то подогреть для этого чуть-чуть воды в чайнике. Хороший парень и длинный, как верста. Романенко любил солдат рослых. После приступов все казались ему хорошими...

Кто-то легонько тормошил его за плечо. Разлепив глаза, он долго ничего не понимал, кроме одного: задремалось.

— Товарищ капитан!

В красном сумраке разглядел наконец своего ординарца.

— Где ж ты был?

— Так вы не велели заходить. Сапоги хотите снять? Помогу.

— Не надо, высохнут — не наденешь.

До приступа он успел сорвать с себя гимнастерку, но, забираясь под одеяло, остался в галифе и сапогах, правда, швырнул под них плащ-палатку.

— Бриться.

— Вот.— Марасул приподнял к лампочке чайник и глотнул из горлышка, отфыркиваясь.— Кипяток! Ух!

— Что же ты кипяток глотаешь? За едой перестанешь чувствовать всякий вкус!

— Э! Где вкус, товарищ капитан, какой вкус? Что ни кушаешь, как газета! После войны я вам сварю плов — эт-то вкус!

— Сам сваришь? Бабье дело.

— Нет. У нас так, товарищ капитан: умеешь готовить — мужчина, не умеешь — баба. Если не нужен, еще на часик уйду?

— Куда?

— Стихи послушать.

— Спятил? Какие тут стихи?

— Не знаю.

— Зачем они тебе?

— Интерес.

— Полный разврат, — поморщился капитан. — Пришли мне Асю!

— Есть прислать Асю!

И Марасул вырвался из палатки, пока в настроении комбата не наступило перемен. Под отлетевший полог плавни закинули охапку лягушачьих голосов: вечер уже бурлил ими.

3

— Я боюсь тебя, — признался Зотов, потому что нельзя же было снова сидеть молча.

— Смеешься? — спросила Ася. — Фрицев не боится, а меня — боится.

Объяснять, что это непохожие, совсем разные страхи, было бессмысленно, настолько они разные и непохожие.

— Прямо как до войны, — сказала Ася с той же привычной для нее хмурью в голосе, хотя подошло бы и улыбнуться.

Война, конечно, невеселое дело, но и в самые сложные минуты люди находили хоть миг для шутки. Однако не Ася. Он уже слышал, что, натываясь на весельчака, забавлявшего кучку солдат, Ася тут же отходила. А некуда было отойти — отключалась на месте, и солдаты, бывало, на всю катушку запускали при ней что угодно. «Какие разные мы с ней!» — понуро думал Зотов, все время улыбаясь, будто бы за себя и за нее. Спросил неловко: почему это ей показалось, что ведет он себя прямо как до войны?

— Хорошие ребята всегда боялись девушек, — ответила она, зевая нарочито.

— А плохие? — спросил Зотов, не зная, как это у него вырвалось. — Они как?

— Я от подруг слышала, — сказала Ася. — А сама про это ничего не знаю.

— Я тоже.

Ася глянула на него, как до сих пор ни разу не смотрела.

— Сколько ж тебе лет, лейтенант?

— Какая разница?

— Не глухой же, спросила: сколько тебе по метрике? Если не военная тайна, ответь.

— Сколько всем, столько и мне.

— Девятнадцать? Уже исполнилось?

— Еще бы!

— Ого! — Ася покачала головой. — А сколько ты на войне?

— Больше года.

— Ого! — повторила Ася, и, пугаясь ее вопросов, затаивших в себе что-то недоброе, он сам спросил:

— А тебе сколько лет?

— Любопытство не порок, а большое свинство, — скучно ответила она, он же продолжал улыбаться:

— Я со страхом спрашиваю: вдруг скажешь — пятнадцать!

С виду ты как девочка.

Похоже, она ничего не слышала, уж очень долго молчала, и даже страх внушало, сколько же ощутимо тяжелой каменности вместилось в такое маленькое лицо.

— Я старше тебя, — наконец ответила она.

— На сколько?

— На сто лет.

— А моложе? — улыбнулся он. — На два года.

— Разведал?

— Сам знаю.

— Кто же открывает тебе чужие секреты? — вдруг начала злиться Ася так, что злость уже выплескивалась наружу.

— Смотрю на тебя и догадываюсь, — признался он, ища в себе хоть чуточку лихости, но так и сидя с тоскливой смешинкой в глазах, ставших оранжевыми под луной, которая и сегодня уже загадочно всплывала воздушным шаром.

— Нет, кто тебе подсказывает?!

— Наверно, любовь, Ася...

— Ты дурак? — еще больше разозлилась она. — Толкну сейчас в воду — и помалкивай, чем такое молоть.

— Выплыву.

— Слушай, не хочешь, чтоб толкнула, так опять в молчанку поиграй, лейтенант!

— Есть! Я все стану делать, что ты захочешь.

— Ты что, правда, дурак?

— Может быть.

— О, гляди! И не спорит! — будто бы кому-то постороннему, сказала Ася. — Значит, чуть-чуть умишки еще имеется. Береги то, что осталось.

— Есть! — повторил он по-военному, козырнув и чуть не свалившись с ящика.

— Не старайся, лейтенант. Я стреляная. Ничего у тебя не выйдет, не получишь.

— Да что ты городишь? — обиделся он. — Мне ничего от тебя не надо.

— Ты контужен был?

— Только ранен.

— Значит, от рождения чокнутый. Любовь! Сто раз убить могут! Какая тут любовь?

— Убивают раз, но с нами ничего не случится.

— Тебе так хочется, чудик? Война не выбирает кого...

— Я ничего не боюсь.

— То меня боится, а то ничего!

— Потому-то я тебя...

Сам дивясь своей неслыханной смелости, Зотов снова улыбался, а она опустила голову, и долго молчала, и опять вперила в него оранжевыми глазами, как двумя лунами, и в одной луне, коротко блеснув, вдруг затледа слеза, напугавшая Зотова, но еще больше напугал совсем сдавленный голос Аси, который попросил еле слышно:

— Ну, тогда хоть поцелуй меня, лейтенант!

А лицо ее, маленькое, скорбное, с большими, даже большущими глазами, отчего они так часто казались вытаращенными, приподнялось к нему. До сих пор оно ютилось где-то ниже его костлявого плеча. Теперь огладило его щекой и поднялось, насколько смогло. Он стремглав наклонился, их зубы нелепо стукнулись. Он еще долго не дышал, думая, что все это: тишина над передним краем, расплывшимся по гнилой воде среди камышей, их встреча — все это и в самом деле как до войны, но Ася вырвалась из-под его руки, отшатнулась, и он едва удержался, сунув руки в зачавкавшую грязь и лоя ящик, чтобы она не упала.

— Ты забыл, что война? — тихонько спросила Ася.

— Как можно забыть такое?! — соврал он.

— А я забыла...

— Ты простужена. Дай я надену на тебя свою куртку, — сказал он, соскребая об углы ящика грязь со своих ладоней.

— Ничуть не простужена.

— А голос?

— Курю... А знаешь, до войны я пела! Самодетельность. И песни веселые. Услышал бы.

— Споешь мне?

Ася закачала головой, монотонно кивая.

— Я тебе сейчас такую песню спою, Зотов!

Внезапная улыбка вкривь и вкось задергала Асины губы, рассеченные мелкими трещинками. Они были почти незаметны, эти трещинки в сухой корочке, но запомнились от короткого прикосновения к ее губам. А когда, наконец, они растянулись в непривычной

улыбке, в самом уголке, на нижней губе, появилась капелька крови, которую она слизнула, торжествуя объявив:

— Застрелишь меня на месте, если не врал!

— За что? Я не понимаю, как жил, пока не встретил тебя.

Ася незвонко засмеялась. Сквозь ломкие хрипы ее смеющегося голоса донеслись несдержанные всплески чьих-то шагов.

— О! Уже идут.

— Кто?

— Они! Я аж двух позвала посмотреть на чучело, которое задумало отнять меня у комбата!

— Это я — чучело? — наконец спросил он, помолчав.

Шаги, чавкая и плеща, раздавались все ближе, и камыш тоже, кажется, приближался, шорох его подкатывал.

— Беги! — моляще просипела Ася, задергав его за руку.

— Хоть услышал, как ты смеешься, — сказал Зотов и отвернулся, а шум как отсекло, и Ася, подождав, обронила:

— Не они вроде.

И тут же гулкий бас послышался:

— А я ищу, кто это шепчется, а вон кто! Хотите стихи послушать? Хожу, объявляю. Колпаков будет концерт давать.

— Колпаков? — удивился, как ужаснулся, Зотов, будто бы при этом враз осип хуже Аси.

Подняв глаза на рослую фигуру в кубанке, Ася спросила:

— Чего это, товарищ политрук, вы сами ходите — объявляете?

Еще весной политработников переаттестовали, замполит Агеев получил старшего лейтенанта, но давняя привычка жила себе, и многих до сих пор называли политруками. К Агееву это и подходило больше. Ася гадала, скажет он комбату или нет, кого и где увидел. Они поругивались из-за нее, Ася не раз догадывалась об их стычках по вздохам Агеева, но с Романенко не больно-то наругаешься, во-первых, а во-вторых, что за птица санинструктор, когда в этих болотах горячий борщ для солдат каждый день — проблема.

Между тем Агеев договаривал почти с восторгом:

— Скажите, когда последний раз вы слушали стихи? И не вспомните небось! Вот и хожу.

— Про любовь? — спросила Ася.

— Нет, военный стих, но лирический, — пробасил Агеев.

Конечно, думала Ася, он расскажет комбату. Несмотря ни на что, они ведь друзья и мужики. Ну и пусть себе говорит.

— Чей же стих Колпак прочитает? — поинтересовалась она.

— Ничей. Свой.

Даже Ася поразилась и стала подниматься с ящика:

— Ох ты! Пойду послушаю поэта на болоте!

— А вы, Зотов? Или вы к стихам равнодушны?

— Как лягушка.

— Это зря.— Политрук переступил на месте, помня, что при долгих стоянках плавни засасывает исподтишка, и вода тяжело вскипела у его ног.— А может, я вас не видел, а? Я пошел.

— Стойте!— И Ася шагнула с кочки на слякоть, а из нее в воду, и все стало ей вдруг понятно: это он, политрук, задержал двоих приглашенных ею полюбоваться на лейтенанта Зотова, и захотелось уйти с ним, как под защитой.

Политрук еще раз окликнул Зотова:

— Айда! Ну?

— Нет, нет, нет! — зачистил лейтенант, тряся головой, и, немножко посидев в одиночестве, оглянулся.

Темнота забирала уходящих. Один — великан, спина, как стена, туго обхваченная ремнями, словно для того, чтобы не разрастаться больше, другая — с мизинчик. И эта малость Аси в просторе бесконечного камыша, над которым во все концы разлеглось небо, запыленное звездами, эта саднящая душу малость Аси снова прервала дыхание.

Ночами ему часто снилась мама. Она стояла на улице, ждала его одна, да она и жила одна, отец тоже был на войне, по номеру полевой почты не догадаешься, где, по намекам — на севере: «А у нас уже снег», «А у нас еще снег». Улица с мамой была совсем непохожа во сне на их городскую, темнела от травы, такой густой, словно все травы, по которым он успел пройти на войне, переселились туда и закрыли городской камень. Теперь он будет думать только о маме, которая никогда и никого не позовет посмеяться над ним...

Ах, да это чепуха! Подумаешь — посмеяться! Не в этом дело. Как она сказала? «Чучело!» Так не скажешь человеку, к которому хоть капельку...

Шаги уже утонули в темноте.

Хлопнув по щеке, Зотов сгреб комаров, и ладонь стала липкой. К утру много крови засохнет на руках, оденет их в коричневые перчатки. Хлопнув по второй щеке, он вытянул из тины сапоги и прыжками двинулся туда, где уже сошлись люди.

Среди лужайки, несущей, как плот, большую палатку, солдаты сидели на досках, раскиданных по влажной траве, на смятых в комья шинелях, а кто и стоя слушал, как, опустив голову, бубнил Колпаков:

Хорить над плавнями луна,
Ночные птыци ищуть хнезды...

Город Белгород (Колпаков родился и жил рядом) недалеко от Украины, и, конечно, украинизмы живут в тех местах, как дома. С нежностью Колпаков выговаривал «г», а мягкие знаки ставил, где надо и не надо, по собственной душевной щедрости.

На вид он был щупленький, как Ася. Но на самом-то деле крепкий.

И кулаки, увесистые, как кувалды, невпопад с обличьем, сразу вызывали уважение к себе. Руки его редко отдыхали, а все шевелились, словно обдумывали работу.

Колпаков работал и на войне. Надо копать, носить, прибивать — нет лучше Колпакова, загляденье, как он носит, копает, прибивает. Надо резать колючую проволоку врага — от минометчиков за полночь идет Колпаков, помогает делать это другим. Потом, бывало, спросят дружки по расчету:

— Как, Герасим, проволока?

— Репьев на ней многовато. Зато на звезды полюбовался.

— Когда?

— Так на спине ж лежал-то. До утра. Мать моя, сколько ж это в небе звезд! И откуда?

— Загадка вселенной.

— Право слово!

Даже если вся работа сделана, и тогда Колпаков не ложился на бокую, а ладил курцам табакерки из снарядных гильз, для чего одну-две всегда таскал в своем вещмешке. Его хвалили, каясь, сколько времени у него отняли, а он радовался:

— Я люблю художественную поделку.

Когда Зотов услышал от своего солдата эти слова, он проговорил с ним о том о сем больше часа, сказал наконец, что все же спать пора, и Колпаков согласился:

— Пора-то пора, да сна нету.

Давно уж Герасим не получал из дома писем, не знал, жива ли его семья. Под Белгородом, недавно вырванным у оккупантов, была такая танковая бойня, что в малых и больших окрестных речках оглушило, пожалуй, всех сомов, а в рощах — птиц. Куда уж людям... Теперь он писал домой все чаще и требовал у почтальона ответа, которого все не было.

Хлазеють на тебя со дна
Упавшие в озера звезды...

Он тихонько читал, но все сидели еще тише. А смолкнет — что скажут? Стихи — это с тех самых звездных высот, но выносятся на суд людей. Хоть и высоки звезды, а люди выше. Им подавай... Да какие это стихи? Самодеятельность, как сказала Ася... Если отшелушить их от своеобразного колпаковского говора, звучали стихи так:

Горит над плавнями луна,
Ночные птицы ищут гнезда,
Глазеют на тебя со дна
Упавшие в озера звезды.

Повис камыш над головой,
И, неизвестно где кончаясь,
То замирая, то качаясь,
Стоит он вдоль передовой.
И плеск воды издалека
Летит и гложет над трясиной,
И ты похож на рыбака
В дождевике, покрытом тиной.
Тебе не спрятаться в окопе,
Окопа нет, бредешь по топи,
И ни могил и ни следа,
Одна вода, одна вода...
Сейчас согреться у костра бы,
С сапог тяжелых счистив грязь,
Чтоб под ладонями, как крабы,
Краснели угли, шевелясь.
Но тут бы закурить хотя бы...

То ли стихи оборвались неожиданно и все терпеливо ждали продолжения, то ли по другой какой причине долго тянулась тишина, казавшаяся безразличной, пока несколько голосов на болотной лужайке не осмелилось заговорить:

— Хочешь свернуть, Герасим? Сухой табачок, понравится.

— Да что у Герасима Кириллыча кисета нет, что ли?

— У него кисет железный.

— Хоть порох береги.

— А чего жалуется? Тут бы закурить бы!

— Чтоб тебе до кишок дошло, тюха.

— А-а-а...

— Так, — растерянно подвел итог Агеев, выходя на лужайку к Колпакову, и возле него тот и вовсе измельчал, как у башни. Однако не Колпаков, а великорослый Агеев смущенно откашлялся и только потом продолжал: — Это интересное стихотворение. Как из книги стихи, а ни в какой книге нет. Да... Написал наш Колпаков, прямо не верится! Не было у нас батальонного поэта, мы не знали, а теперь узнали. А?!

Ася вдруг крикнула:

— Спасибо, Колпаков!

Все оглянулись, ошарен от ее внезапного оживления не меньше, чем от колпаковских стихов.

— Похлопаем ему! — не унималась она.

Но захопала она одна, а остальные засмеялись. И едва стихло веселье оттого, что отвыкли от такой простой вещи, как хлопать в ладоши, молодой голос потребовал у Колпакова:

— Еще, хоть штуку!

- А больше нету,— чуть слышно отозвался Колпаков.
- Ну, тогда повторяй,— донеслось несговорчиво,— по второму кругу: *Тут бы закурить бы!*
- Хватить.
- Бери его в окружение, ребята, не выпускай!
- Но, но, но! — прозвучал бас Агеева.— Он перед вами душу выложил, а вы его за это — в окружение!
- Свеженький солдат, совсем юноша, вскочил и крикнул:
- Чем вы были до того, как сочинять стихи?
- Спроси лучше, чем не был. Пастухом... кузнецом... печником... даже сапожником... Остановка на плотнике.
- После войны не думаешь сменить профессию, Колпак?
- Зачем?
- За стихи больше дают! Огребешь!
- Не для того их пишут,— отозвался Колпаков и, сутулясь, затопал с лужайки куда-то совсем прочь, где стояла другая палатка, спрятавшись за камышом. Тощая спина его скоро растворилась во тьме.
- Агеев подошел к Асе:
- Чего размахалась? Не все сказала?
- У поэта имя должно быть... как колокол! А в батальоне его зовут Колпак!
- Так это пустяки. Псевдоним возьмет. Как колокол!
- Панкова! — деликатно позвал из тьмы Марасул.
- Ау!
- Не аукайся, а беги! Живо, пожалуйста. Капитан зовет!

4

Она выпуталась из марли и в палатке остановилась у самого входа, на полшага сбоку. Эти полшага в сторону автоматически сделала, стараясь, как всегда, не мешать никому. Но даже Марасул не возвращался. А комбат сидел на раскладном, вроде бы из негнущегося брезента трофейном стуле, спиной к ней. Он только что вытер и спрятал в ящичек бритву, к которой относился с нежностью, и оглянулся. Был он бледен, несмотря на лампочку, алая густота которой лежала как бы отдельно от его щек. Может быть, ее отпугивал броневой запах тройного одеколona?

- Ехать надо,— сказала Ася,— пока не поздно. В госпиталь.
- Придумала! Короче: я не слышал!
- А я и температуру мерила.
- Не ври,— устало отмахнулся он.— До рассвета я по дамбе лазил, а после дрых весь день. Она мерила! Когда?
- Вы меня еще мамой Галей называли. Вон и термометр.

- Он схватил градусник с табуретки и рывком стряхнул.
— Два года я не был в госпитале. Не морочь мне голову!
— Кричите, точно я виновата.
— А кто виноват? Дохлый комар?
— Живой.
— Докажу тебе, что здоров! — весело сказал он.

Она подумала: «Сейчас вцепится в плечи, крутанет и, как всегда, вопьется в губы, расстегнет пуговку на гимнастерке». И уперлась ладошкой в его неохватную грудь.

- Что такое? — неожиданно мирно спросил он.
— Хотите умереть со мной на топчане?
— Нет, что такое? Вы, вы! Кроме нас, никого не вижу. Что такое? — потешался он, и горячие толчки его дыхания обдавали ее лицо.
— Укушу! — пригрозила она. — У меня, между прочим, пистолет!

— Ух ты!
— Закричу сейчас, — догадалась она о том, что действительно ему было совсем ни к чему.

И он толкнул ее на брезентовый стул, а сам, не устояв на ногах, с размаху плюхнулся на край топчана.

- Ладно, — в безнадежной слабости сказал он.
— Я сама вас отвезу, хотите? — с неожиданной лаской предложила она. — Недели через две вернетесь.
— А плавни уже будут пустые!
— Правда?
— Пока только чувствую.
— А-а-а... Но вы до этого свалитесь и не встанете. Знаете, что у нас творится.

Плавни доканывали батальон. Ноги у солдат покрывались нарывами, сапога не натянешь. А натянешь — не закроешь этих гнойных бугров. Они выскакивали на боках, под мышками, на шее... Больных отсюда отправляли не реже, чем раненых.

— Ты меня со всеми не равняй, Асенька... Я быстрый, даже болею быстро. Завтра уже буду на ногах.

— Хоть плачь, хоть смейся! У нас одна соседка во дворе так говорила.

- Где у вас?
— В Таганроге. У меня и мама там.
— Кто же увез тебя от мамы? Храбрый воин?
— Нет.
— А как было?
— Из нашей школы ансамбль на уборку хлеба отправили. Ездили мы с охотой, пели, танцевали.
— Понятно.

— Тем летом, как раз в уборку, немцы повалили на Сталинград. В Таганрог мы уже не возвратились.

— Бабочки, без дыма спаленные.

— Хоть плачь, хоть смейся!

— Но мы с тобой еще спляшем! Только... тут... плясать негде. Твердой земли нет! Как выйдем на твердую землю, так и сразу... Это я тебе обещаю, Ася. Пыль встанет. Я давно уж не видел пыли.

— А Колпак сейчас об этом стихи читал, — задумчиво сказала Ася. — И ни могил и ни следа, одна вода, одна вода...

— Откуда это он такие стихи выкопал?

— Сам сочинил. А политрук Агеев собрал солдат послушать.

— Разыгрываешь? Все с ума походили! На час заболеть нельзя, а ты — уехать. Нет тут места для стихов!

— А какое им место нужно, Марат? Никакого, кроме сердца.

— Хм!

— Странно видеть цыгана, не любящего стихи. Право слово, как говорит Колпак. Цыгане поют. А где песни, там стихи.

— Я нынче по национальности комбат. Понятно? На войне одно годится — стрелять. Понятно? Вот и все стихи. А поэтишков надо давить. Как комаров.

— И мне понравилось.

— Тогда и тебя давить! — Романенко развел руками. — Потому что стихи, любовь, все, что мешает войне, — это разврат, Ася. Уж поверь мне! Понятно?

Легко ему жить! Все понятно. И сразу.

— А у меня — урожай, — назло ему сказала Ася. — Стихи по душе. А перед этим один человек в любви признался.

Она похвалилась тихонько и обомлела. А Романенко выпустил длинную струйку воздуха сквозь стиснутые толстые губы, точно засвистел. Пиявки его бровей сползлись.

— Расстрелять Агеева за воспитание личного состава! Куда он смотрит?

А сам вглядывался в ее лицо — другое, неизнаваемое, изменившееся. Ее глаза смотрели на него в ответ с превосходством, и, без того большие, они стали еще больше от переполненности светом, от какого-то неограниченного простора в них. Их затопляло помидорное свечение лампочки, под которой Ася сидела, но неистребимая голубизна трогательно оживших глаз проступала даже сквозь него: оно было подделкой, свечением от аккумулятора, а из глаз ее свет вырывался, как дух. И этот свет обрисовал вдруг все, на что раньше не хватало внимания: тонкие ноздри маленького носа, выточенные ушки, еще не знавшие сережек, поэтому казавшиеся беззащитно детскими в своей оголенности — двух-трех заколок хватило на мальчишески короткие волосы. На бесцветных, будто бы вылинявших щеках улеглись пятнышки румянца. Ну, это уж от лампочки, конечно...

— А если и я тебя люблю?

Он опять встал и протянул к ней руки.

— Не прикидывайся.

— Я всегда молчал, Ася, потому что... лучше молчать. Отвоюемся, тогда и будем любить, рожать детей...

— У тебя есть сын.

— Так поэтому...

— Поэтому я тебе, может быть, завидую! — перебила Ася.

Он медленно и осторожно вздохнул, садясь.

— Кошмар, какие у тебя большие глаза! Цыганские, я думаю, по величине. Я уж не помню, правда...

— А что ты помнишь из цыганской жизни? — спросила она.

— Разве как колеса скрипят. У каждой телеги — свой голос. В общем, цыганский хор на дороге.

— Мне одна цыганка гадала: «Дай руку, красавица».

— Не ошиблась.

— Напророчила, что счастливая буду.

— Тоже не соврала. Жива, любима! Чего тебе еще?

— Ты даже не спрашиваешь, что я услышала... И от кого. Почему ты не спрашиваешь?

— У меня с солдатами и командирами чистые отношения.

— Только пусть ведут себя как положено?

— Ха-ха!

Волосы по бокам его головы раскинулись, как крылья коршуна. Красные глаза выкатывались из-под толстых и черных бровей.

— Оскорбить цыгана — смертельное дело, — благодушно сказал он, и тут на щелястом столе зазуммерил телефон.

Раньше чем комбат поднялся с топчана, из коридора вынырнул и, оценивающе поворачивая головой, втиснулся в палатку еще один великорослый солдат, дежурный связист. Как его только выдерживали зыбкие здешние «сушки», никому не ведомо. Меж тем связист уже гаркал в трубку:

— Я — Фиалка! Слушаю, Сирень. Фиалка слушает!

Над бессмертной, никогда за всю историю земли не просыхавшей грязью порхали самые цветущие позывные. Комбат стоял на ногах и уже тянул руку за трубкой. Сирень — это полк.

— Слушаю. Здравствуйте... Одобряете? Есть! На сто процентов, командир у них дельный... Я его еще на Протоке хотел к ордену... Как чувствую себя? Я всегда себя прекрасно чувствую. Есть! — еще раз отозвался он, и Ася поняла, что он говорил с «первым», с командиром полка, и, судя по его подчеркнутой подборанности, по чеканности кратких ответов, о чем-то важном, потом вернул трубку связисту и постоял невидяще, глаза были уже где-то в другом месте.

А когда связист, спросив разрешения, ушел, Романенко погрозил Асе пальцем:

— Ни бойцам, ни офицерам, ни генералам, ни маршалам...
короче — никому...

— Что?

— Ни слова об этом комаре. Ступай! — И прибавил, когда она была уже у выхода: — Лейтенанта Зотова ко мне!

— Зачем? — спросила она, собрав в пальцах повлажневшую марлю первой шторы в противокомарином коридоре.

Он достал из ящика стола свой планшет, раскинул, открыв схему района, проглядывающую цветными линиями, зубцами, кружочками сквозь желтую слюду, и выпрямился.

— Рядовой Панкова! Меня не спрашивают, зачем. Лейтенанта...
Постой! Это Зотов? Он давно на тебя поглядывает. Еще с Протоки.
Влюбился, значит?

— Ну и что?

— А может быть, и ты его любишь?

— Ну и что?

— А я вот сейчас скажу Зотову про тебя!

— Ну и что?

— Сюда его!

— Есть!

Ему бы склониться к планшету, а глаза все еще сурово следили за Асей, и ей вдруг стало жалко комбата по самому простому и безошибочному поводу: он болен. Но это была бесполезная жалость, когда помочь совершенно нечем, потому что самую понятную помощь он воспримет как предательство, а она не могла никого предать. Оставалось надеяться, что комбат сам отобьется от малярии и зловредный комар как бы отлетит от него хоть на время. Другие воли вступали в дело.

— Марасулов! — крикнул комбат, но не дождался ответа.—
Увидишь — пришли. Или нет. Агеева ко мне, сейчас же.

— Агеев уже здесь, — послышался из меркнувшей в отдалении глубины коридора знакомый голос.— Что за срочность?

— Садись, скажу, — предложил Романенко, когда Ася оставила их, и новая охалка лягушечьих голосов, которыми разоралась ночь, зашвырнулась в палатку.— Идея наша — моя и Зотова, вернее, Зотова и моя, — создать плавающую минометную батарею — под-
держана. Что это значит?

— Будем делать минометную батарею на плотках.

— Не понял, Саня, — с досадой сказал комбат.— Не для того мы будем делать батарею, чтобы прятаться. Нет! Сделаем и сразу — в серьезный бой! Короче: сегодня сделали, а завтра...

— Наконец-то!

— Дошло! И чтоб никто не пронюхал про нашу батарею заранее, чтоб, как это говорится, и комар носа не подточил! Собирай солдат,

Саня, и пусть распевают песни, как от нечего делать, а Колпак им стихи читает. Пусть!

— Зря смеешься. Он, по-моему, сильный поэт.

— Верю. Короче, со стихами ясно. А вот сейчас придет Зотов... Я обещал ему, что в бою у него будет лодка для подвозки мин к плотам. А лодки нет!

— Слышал в политотделе разговор: лодки привезут чуть ли не из Краснодара! Попроси!

— Не дадут нам!

— Почему?

— Потому что и плавни, Саня, разные. Есть большие «сушки», почти земля. С тропами, почти дорогами. А есть одно болото. А есть и вода, это у нас. Камыши немец выжег, потопит на воде, как мальчишек. Я просил, а мне говорят: вы уже три плоскодонки потеряли! Бесперспективные мы. Из плавней нас вытаскивать будут после всех. Сиди и жди, короче. Я еще попрошу, конечно, но...

— На бога надейся, а сам не плошай?

— Точно. Рябинин был моим богом, Саня! Имел задание — взять у немца лодку. Разыскал лодочную стоянку в большом лимане за их дамбой, там есть заводь и там... А где Рябинин? В госпитале! Малярия!

— Лодка будет.

— Кто поведет разведчиков? Командиров в обрез, и у каждого свое дело.

— Есть один бездельник. Я.

— Саня!

— На политраблиту я пришел из разведки...

— Санечка! Но...

— Что тебе сейчас нужней всего? Лодка. Короче, сколько времени дашь?

— Зотов поедет в станицу за бревнами для плотов на три дня. Значит, вот и весь запас у разведчиков. Но Саня!

— Не спорь.

Романенко помолчал и вдруг, шмыгнув носом, поднял голову со смеющимися глазами.

— Знаешь, как закончим эту кампанию, я тебе бурку подарю. Мне Гогоберидзе обещал, но... Есть же ведь еще у нас грузины в батальоне, будет и бурка. Выйдем на эту косу у Черного моря, ее почему-то Чушкой величают... Ты видел Черное море?

— Нет.

— Красивое. И я подарю тебе бурку!

— Да зачем она мне?

— Как зачем? Сфотографируешься! И пошлешь фото в бурке и кубанке... Есть кому послать?

— Лучше выполни одну мою просьбу.

— Хоть десять! Короче.

— Оставь Асю. У нее появился парень.

Романенко задергал верхней губой, с которой час назад сбрил наметку черных усов, Агеев же не спускал с него глаз, но так и не услышал в ответ ни слова. Лейтенант Зотов, появившийся в коридоре, спросил из-за его спины разрешения войти.

— Подождите на улице! Пожалуйста,— поспешно попросил Агеев.— Я позову.

Шаги Зотова, которые они прозевали за разговором, а теперь слушали, пропали в лягушачьем хоре, и комбат принялся за самокрутку, а замполит вполголоса сказал:

— Они молодые, Ася и тот парень. Не то что мы! Это настоящее... Может быть...

— Давай заниматься делом! — рассерженно перехватил комбат.— А это личное!

— Значит, не дело? Времени у нас хватит, ночь впереди. Вы же не думаете посылать нас без промедлений.— В такие минуты он переходил на «вы», чтобы держать себя в руках.

— Зотова пошлю сейчас же,— сказал Романенко.— Ни секунды не теряя...

И так настойчиво взгляделся в Агеева, что тот добавил:

— Не спрашивайте меня, что это за парень с Асей рядышком сидит и боится ее за руку взять. Хороший парень, а кто — я не скажу. Да это и не имеет значения.

— Я и не спрашиваю,— проговорил комбат равнодушным голосом.— Это Зотов.

— Ну и знайте.— И Агеев тоже потянулся за табаком.

Комбат неподдельно расхохотался, пока Агеев, повысив голос, не остановил его:

— Совесь-то твоя где?

— Надоел ты мне,— горестно пожаловался Романенко.

— Оставь Асю. Потом будешь...

— Вспоминать тебя добром?

— Зачем меня? Себя самого. А у меня еще вопрос. Сколько разведчиков пошлешь со мной?

— Хоть весь разведвзвод!

— Дай мне двух, понадежнее.

— Не мало?

— Большой группой в таком тылу действовать тяжелее. Так кого брать?

— Пышкина. Он с Рябининым там был, помнит дорогу. И второй — Марасулов. Нечего ему здесь томиться. Кипяток из чайника глотает от тоски. Все немецкие мины знает, как наши ходики. С любым сюрпризом справится, сделает проход. Пышкин и Марасулов. Эти не оставят.

- Разрешите идти, товарищ капитан?
- Слушай, не дави ты мне на психику!
- Без задней мысли спросил, как спросил бы тебя Рябинин.

Романенко тоже встал, и вдруг они обнялись, до боли пригнувшись грудью к груди, нечаянно сцепившись ремнями от портупей, и похлопали друг друга по плечам. Завтра разведгруппа будет уходить при других командирах и солдатах, не очень-то пообнимаешься...

Назавтра, к вечеру, провожая разведчиков, Романенко вдруг дернул с Агеева косматую кубанку и надвинул на него свою пилотку, заметно великоватую. Ничего, закроет уши от комаров, а для маскировки удобнее.

Сутки протянулись, вцепившись когтями в сердце и не отпуская. Марат не сходил с дамбы, каждую минуту готовый поддержать разведчиков огнем. Сам слушал и других, не стесняясь, спрашивал: ничего не слышно? Меняя дежурных, буквально ни на минуту не оставлял пулеметы без стреляющих. Но «стреляющие» не стреляли.

Среди новой ночи, после луны, когда она закатилась за камыш, где-то далеко, за вражеской дамбой, простучали очереди. Быстрые и короткие. На нашей дамбе все дежурные мигом приготовились. Но там, в далекой перестрелке, наступил нескончаемый перерыв. Нет, не очень-то нескончаемый... Вот очереди еще короче и поспешней. Потом задалил тяжелый пулемет, долго колотил в ночь.

До рассвета напряженно всматривались вдаль, словно пытаюсь глазами пробуровать болотную тьмищу. Марат знал, что, захватив лодку (если удалось!), разведчики, чтобы обмануть немца, могли еще глубже уйти в его тыл, скрыться, там хватало для этого протоков, заросших, вроде нехоженых троп, и заводей с камышами. Агеев сказал: скоронимся на сутки, есть где.

И еще ночь. Какая тихая и бесконечная, с ума сойти! Ожидание прессовалось, как взрывчатка в mine. И лишь на зорьке, на мокрой, смердной, но все же зорьке, коснувшейся розовым светом тумана над водой, по нему ударили кинжалы пулеметов и автоматов, безнадежно пытаюсь вспороть туманное одеяло над разливом.

В ухо занесло и оставило в нем растущий стрекот лодочного мотора. Агеев идет! Моторку взяли! И сердце заколотилось чаще. Обещал, будет лодка, и еще не видно, а уже слышно: идет. К пулеметному огню немец прибавил мины. И все туда же — по лодке.

Из центра и с флангов нашей дамбы, прикрывая невидимых разведчиков и отвлекая на себя вражеский огонь, вовсю заработали пулеметы. Минометчики тоже уже обстреливали своих противников и разделили их: вражеские мины полетели и в разлив и над нашей дамбой, в глубь камышей, а наши мины вдруг тревожно оборвали свой трепещущий клеткот. Нет, вот он, вот они! Меняли позицию, значит.

Зотов понаделал множество позиций, чтобы путать немца. Да тут долго с одной и не постреляешь, оседет, заглочит. Командир первого взвода, которого он оставил на эти дни за себя, стрелял уверенно и расторопно, а ведь был уж совсем мальчишкой с виду, щуплым и писклявым, прямо с цыплячьим голосом. Все они, эти молодые минометчики, постепенно заменившие «стариков», были похожи на мальчишек. А дело знали...

Когда наши минометы снова замолкли, «переползая» на другие «сушки», из тумана показалась лодка. Одна. Что за черт! В ней не было видно ни фигуры, ни головы. Она приближалась, выбираясь из белых облаков, засвеченных зарей.

Наши минометы вновь ожили, создавая огневую завесу, и Марат умолял лодку прибавить скорости, но она шла все так же ровно, и так же ровно трещал ее мотор, как будто ничего ее не касалось. Она шла, как пустая, сама по себе.

Едва она, не сбавляя ходу, вонзилась в нашу дамбу и мотор забурлил, превратив только что тихую воду в пену, а пену смешав с туманом, Марат, не первый раз забыв об опасности, прыгнул в лодку. Слава богу, сказала бы мама Галя, побегал на моторках по Днепру, без труда справился с подвесным мотором на этой железной посудинке, аккуратно, как на парад, покрытой зеленой краской, и сопровождаемый каруселью пуль, завел ее за дамбу.

В лодке на спине, ногами вперед, лежал Пышкин. Его круглая щека была глубоко рассечена пролетевшим осколком мины, который пробил один борт и упал у другого. В двух местах гимнастерка намочила от крови. Пышкин чуть дышал...

Военфельдшер, прибежавший со своей укладкой в деревянном чемоданчике, сделал Пышкину два укола, вырезал куски гимнастерки, вытер кровь, стал щедро мазать йодом и бинтовать. Комбат просил, а потом и кричал, чтобы разведчику вернули сознание, хоть на миг, для ответа: где Агеев?

Военфельдшер приминал свои нелепо топорщившиеся усы к щекам, будто вытирал о них кровавые пальцы.

— Его надо в медсанбат. Срочно.

Комбат плакал. Позже ему сказали, будто из его глаз непривычно покатились слезы. А самому помнилось, что кричал:

— Но я должен узнать про Агеева! И Марасула! Где они? Этого никто не скажет, кроме Пышкина!

И вдруг оба увидели, что Пышкин открыл свои кукольные глаза, ясные, как у проснувшегося ребенка.

— Можешь говорить? — спросил комбат.

Пышкин долго набирал воздух маленькими ноздрями курносого носа, а выдохнул враз, будто сказал: да.

— Где Агеев? Убит? Ты сам видел?

Пышкин опять вздохнул и завозился, пытаясь приподнять остатки гимнастерки. Военфельдшер помог раненому, и тогда оба увидели пилотку, полузаткнутую в штаны. Марат сразу узнал ее. Это была его пилотка. Та, что в последние минуты их общения он надвинул на Саню Агеева взамен кубанки. Она, значит, осталась на воде, и Пышкин подобрал ее. Он взял и помял ее в руках...

— Говорил что-нибудь Агеев? Ну, вспомни!

Пышкин опять медленно набрал в себя воздух и, преодолевая боль в щеке, пробормотал странные агеевские слова:

— Какая красотища... Жить нельзя, а любоваться есть чем...

Романенко ушел с пилоткой в руках. Где-то остановился и сдвинул зубы так, что в ушах заныло. Вернулся чуть ли не бегом и спросил фельдшера:

— Кого пошлете сопровождать раненого?

— Санитара Малахова.

— Нет. Пошлите Панкову.

— Дорога такая... Не справится.

— Она? Заготовьте требование, пусть получит перевязочные средства. На это ей прибавьте время. А вернется с минометчиками... Понятно?

Под его свирепым взглядом военфельдшер больше не решился возражать.

Шагая к штабу, комбат снова остановился по колено в грязи, разгреб камыш и невольно подумал: «Где тут красотища? Какая? Чем любоваться?» Ничего, кроме гнева, не вызывало это гиблое место в его изнурившемся сердце. Сквозь камыш мимо пробежала Ася. Остановить ее? Нет. Поздно. Вот и нет Аси... С кем же он остался?

И совсем нечаянно из каких-то глубин пришел облик маленького человечка. Его сына. «После войны привезу мальчишку в плавни. Вдвоем подплывем на лодке к какой-нибудь «сушке», походим и найдем старые гильзы...»

5

Военфельдшер отпустил усы, чтобы занять хоть что-то от бравой военной стати. Выросли усы страшные, с двумя непослушными пучками на длинных концах. Больше всего они походили на черные веники, сомкнутые ручками под вислым носом.

Объяснив Асе, в чем дело, «Веник» — такая уж была у фельдшера кличка — предупредил, что раненый очень плох, но ничего не подлаешь. Приказ комбата. Авось! Вернуться Асе с минометчиками.

— Где я их найду?

— Комбат сказал: двор слепого старика.

Выдирая ноги из грязи, как будто в ней лежал специальный магнит для подметок, Ася уже на первом километре догадалась, что послал ее в станицу, к Зотову, не комбат, а Агеев. Это последний его приказ в жизни. Ему мерещилось что-то хорошее, чего не может быть...

Она все скажет этому свихнувшемуся лейтенанту. Для этого она и встретится с ним на короткое время... На земле время суровое, и она не в силах этого изменить.

Когда она недавно начала рассказывать Романенко, как попала в армию, он, не дослушав, сказал: «Понятно». А не так все было просто, чтобы сразу понять. Она и сама не понимала, что и как случилось в то лето.

Пыль, с утра поднимаемая отходившими войсками, не успевала осесть на землю, как ее взвихривали колеса и она снова взлетала. Все, когда-то зеленое, как лист на дереве, светло-бордовое, как черепица на крышах, голубое, как небо или тихий пруд, желтое и яркое, как солнце или пшеница, становилось одноцветным от пыли.

Ася видела, как из одной машины направо и налево сбрасывали ящики со снарядами, чтобы убавить груз и укатить быстрее. Боец, едва увернувшийся от ящика, посмотрев на длинные и тонкие снаряды, придавившие пыльную пшеницу и оставшиеся в ней, сказал:

— Зенитные.

Видела, как сидели на обочине другой боец и генерал с небритыми щеками. Боец безмолвно грыз соломинку, а генерал безмолвно делился с ним папиросами.

Разгоняя ночи, где-то вполнеба полыхали железнодорожные станции, деревянные склады, забитые грузами, нужными для войны, элеваторы со свежим зерном, товарные вагоны и цистерны на путях. Вот так и было: днем вокруг темнело от пыли, а ночью светлело от понятных и непонятных огней.

Их ансамбль дышал той же горячей пылью, что и войска, и удалялся от родного города по той же дороге, и многие вокруг них при остановках у разломившихся, не выдержавших неожиданной ноши войны мостиков удивлялись, что это за ватага девчат и пареньков шагает, плетется, тащится с аккордеоном, гитарами, мандолинами и даже небольшим барабаном. Куда? Никуда. Их кормили кашами из армейских концентратов, реже звали на грузовики — только девочек, да и то не всех, а по одной, сколько могли втиснуть. Но они поклялись не расставаться — от дружбы или от страха, не сказать. И то и то сопровождало их всю дорогу.

Иногда их просили поиграть и спеть. И они пели, и играли на своих пыльных гитарах, и били в свой барабан, из которого при каждом ударе неистощимо вылетала пыль.

Их захватил поток, движущийся к Кавказу. Начинались просторы, будто бы выметенные ветрами, как небо, казавшиеся им не только далекими, но и пустыми, и тогда страх и усталость распоясались,

точно ждали этой минуты, а может быть, убийственная разумность победила и пришел день разлуки для школьных друзей, которым не хватило двух месяцев, чтобы окончить десятый. Сначала, посоветовавшись, мальчики объявили, что уходят в армию. Где-то они сейчас? А девчат разобрал кто смог: авиаторы, штабники, полуторка какой-то редакции, от перегруза хромавшая на все четыре колеса, госпиталь.

Еще издали Кавказ среди лета забелел вершинами, которые, приближаясь, теряли блеск, зато из этого блеска все резче выступали очертания. Отстал Пятигорск, где гениального юношу Лермонтова убил ничтожный Мартынов, и не успела память перебрать строки из «Мцыри», как уже загредел Терек, стремившийся утащить в море камни, вцепившиеся в его дно.

Начальник госпиталя, в котором очутилась Ася, был величавым, как кавказская гора со снежной головой. Сначала подумалось, как же такого старца, хоть и богатырского вида, призвали на войну, а потом оказалось, что ему всего сорок, и это будто немного. В тот вечер, когда начальник вызвал Асю к себе в комнату, где жил, он расспрашивал о многом, а отвечал на ее робкие вопросы всего каким-нибудь одним словом: «Обучим», «Оденем», «Дадим». Уходя из этой комнаты бывшей больницы на земле осетинской, он зачем-то поддел Асю под нос грубым и могучим пальцем, как делают, когда подбадривают маленьких. И велел раздеваться и ложиться. Часа полтора она просидела, как пойманная, в этой комнате. Вспоминать об этом сейчас было страшнее, чем сидеть и ждать тогда. Ни о чем она не думала, только горько и грустно, как бы прощаясь, воскрешала свой Таганрог, песок на приморском берегу, осенние купания, за которые всегда влетало от мамы...

Жизнь накапливала потери. Сначала оторвало от дома, потом от школьных товарищей, она до смерти боялась потерять крышу, приютившую ее. Боялась одиночества, как щенок на дожде. Сейчас, вспоминая, понимала, что тогда смалодушничала, но тогда не думала, что наступит это сейчас. И знать не знала, что где-то на земле живет лейтенант Зотов...

Вернувшись, начальник госпиталя спросил:

— Еще сидишь? — и погладил ее по голове.

Она стянула и повесила на стул юбочку...

Среди ночи он много курил, а у нее мокрели глаза, и он отмахивал от нее дым. Потом круто повернулся к стене и уснул, а она еще долго промокала глаза углом простыни, дыша как можно тише, чтобы не разбудить похрапывающего соседа.

После нескольких месяцев переставшей быть страшной, а только трудной жизни, когда им без остановок привозили раненых из долин сражений, в новогоднюю ночь вслед за войсками, перешедшими в наступление, госпиталь рванулся вперед, стараясь не отстать. В ее палату с легким ранением попал один штабник, ну, бывают же такие,

весь добрый, добрые глаза, доброе лицо, она не выдержала, заговорила, и он понял все-все, хотя она, кажется, и не намекала на свои горести. Хочу, дескать, в действующую часть, чтоб война — так война... Он пообещал устроить перевод. Где это было?

Ее встряхнул Георгиевск, приземистый городок, показавшийся ей больше деревянным, чем каменным. Гитлеровцы набили дровяные сараи городка бутылками, этикетки на которых украшала типографская строка по-русски: «Спирт». Люди сами пили и угощали воинво-свободителей, веселились, а через два-три дня сотни некрашенных гробов двинулись к кладбищу Георгиевска на грузовиках, затряслись на подводах, закачались на руках. Спирт был метиловый, древесный, не спирт, а яд, о чем умолчали этикетки.

Под январским снегом, негустым в здешних краях, у госпиталя почти на ощупь вытянулась очередь людей, терявших глаза. И все от того же зелья, выпитого на радостях. Что она вдруг поняла, столкнувшись с ними? Что нельзя опускать руки в какой угодно беде? Что если можешь помогать другим, и себе помоги? Что если погибать, так уж там, где убивают не зря? А может, ничего отчетливого и не было, а вот очнулась — и все, потому что удары людского горя непременно будят других? И добрый штабник не забыл о ней.

Провожая, начальник госпиталя поправил свою седую гущу на голове и негромко сказал:

— Ну, не поминай лихом... Хотя куда тебе от этого деться?

В весенних разливах грязи за Краснодаром Ася отыскала батальон и доложила о прибытии.

— Из тишины госпиталя на передний край? Ох, какая лихая! Это мне по душе! — приветствовал ее комбат.

Так она и попала из огня да в полымя.

Она все скажет Зотову сама. С любовью надо быть чистой. И прости-прощай, эта любовь, которой она не просила и не ждала.

До крупной «сушки», где разместился штаб полка, полоска дороги в камышах была смесью воды и грязи. По этой полоске, чмокая сапогами, два солдата тащили носилки с Пышкиным, а тот не открывал глаз, снова напрочь был без сознания, но дышал. Ася часто проверяла это, догоняя носилки, вытирала Пышкину лоб и мячики побледневших щек, из которых одна была кроваво рассечена дочерна. Однажды она сделала Пышкину укол кофеина, как велел военфельдшер, когда показалось, что сердце у раненого пропало, не вынеся этой дороги, по которой даже кухни сюда не доезжали.

Поначалу, еще весной, три храбрых грузовика, спутав плавни с распутицей, словно бы зажмурившись, ринулись вперед направо, но превратились, и то ненадолго, лишь в площадки для передышки, где можно было посидеть подносчикам, взвалившим на свои горбы боезапас и термосы с едой. Какое-то время поторчали под

солнцем три кузова с откинутыми бортами, опустившись в топь как раз настолько, что залезать не надо, просто присаживайся и кури, но после первого же майского ливня из диких, рычащих туч не стало видно ни кузовов, ни даже крыш от кабин. И подноски если и устраивали короткие перекуры, то уже на ногах.

— Два солдата несли Пышкина, не отдыхая.

В районе полкового медпункта Асю ждала подвода. Стали быстрее отставать не только гнилые испарения, в которых таяла земля, но даже и комары, различные теперь поодиночке. А ведь там они отовсюду сыпались на тебя крупой, как манна небесная! На ветру, не процеженном камышами, непривычно высохла гимнастерка. А там, в плавнях, ткань, напитавшись парами болота, не бывала сухой. И ни могил, и ни следа, одна вода, одна вода...

В станицу, казалось, въедут, едва отгорит закат, но въехали далеко за полночь, на отвердевшей дороге ездовой удерживал коней от торопливого шага: берег Пышкина. Сдала его Ася в медсанбат живого, он стонал, когда снимали с подводы, но ни одного слова так и не сказал. Романенко через военфельдшера передал Асе, чтобы расспросила об Агееве и Марасуле. Кого? И как? Почему-то скорее захотелось увидеть Зотова, и на улице она даже сказала ездовому:

— Теперь можно подогнуть!

Двор слепого старика она знала, жила там с комбатом в сарайчике, затиснутом в угол и полном запаха здешних луговых цветов, лезущего во все щели. А еще быстрее она нашла двор по кроватной спинке, державшейся вместо калитки за тонкие железные трубы на краю дороги. Ни дома, ни сарайчика уже не было — все сгорело, Ася поняла это в темноте, когда прошла по золе. Слепого старика тоже не было. Но из темноты вдруг спросил голос, прозвучавший с соседнего крыльца:

— Кто там шастает?

И хотя голос звучал ворчливо, будто сонный хуторянин выбрался на ступени, Ася сразу узнала его и откликнулась:

— Это я, Лаврухин!

И голос тотчас стал ласковым:

— Панкова! Здорово! — и, уже подходя, поинтересовался: — Что у вас там нового?

— Агеева убили.

— Е-мое!

— И Марасула.

— Вместе? Где?

— В разведке.

— Хоть бы уж скорее твердая земля...

— Будто там убивать не будут!

— А все же! Проводить к нашим?

— Нет! — вдруг запротестовала Ася.— Помоги ездовому, чтобы в канаву не завернул. И забери его с собой. А я тут переночую, во дворе, на подводе. Жарко.

— Тепло, конечно,— согласился Лаврухин.

— А где они?

— Лейтенант?

— Нет, все. В доме?

— Тут их нет. Наши дальше. А я бревна караулю, вон, на золе. Заготовили. Завтра шабашим.

Почему же она отказалась от немедленной встречи с Зотовым, с Пашей? Свернувшись калачиком под плащ-палаткой и уложив под голову ватник, который принес ей заботливый Лаврухин, она долго не могла объяснить чувства, похожего на испуг, хотя потом поняла: ближе встреча, ближе и разлука, встреча — на минуты, а разлука — навсегда, вот и не хотела. Понять нетрудно, если упростить. Надо все безжалостно и бесстрашно упрощать.

Недавно она укоряла про себя комбата за то, что он часто и быстро говорит: «Понятно». А он и прав. Все проще, чем мы выдумываем. Какая еще любовь? Откуда он ее взял, этот мальчик? Ася, и правда, чувствовала себя гораздо старше Зотова и уже понимала, что на свете все проще. Думая так, Ася становилась сильнее, ближе к привычной отрешенности от немислимых и ненужных забот, от всего, что мешало делать свое дело, есть и спать. В дни работы в госпитале, а потом и на земле, называемой полем боя, Асю учили за всем видеть жизнь, пахнущую теплом, хлебом и обязательно радостями. И за последними глотками воздуха, который втягивали в себя раненые, умирая на ее руках, и за обугленным камнем домов, от многих из которых остались лишь печные трубы, покрытые языками копоти, и за обгорелыми вишнями, которые когда-то цвели невинными белыми лепестками.

Эта жизнь была лишь в воображении, а воображение уставало, как устала сегодня она сама, и недаром ей давно казалось, что душа покинула этот мир...

6

Разбудила Асю заря, которая на стыке воды со степью была голубей, чем всюду.

Ася сама взнуздала коней, чему весело научилась девчонкой, во время командировок с песнями на урожай, и пустила своих отдохнувших сивок чуть ли не галопом по станичным улицам. Через полчаса подвода была уже завалена медсредствами, пакетами и бинтами в мешках. Неожиданно ее охватила злоба на одну себя. Она все делала, чтобы оттянуть встречу с Зотовым, а ничего не могла

сделать. Деться некуда. А если не встречаться, и все? Да, не встречаться! Поехала!

— Куда спешишь? — спросил Лаврухин, когда она попросила разбудить ездового.

— Домой.

— Не пустим одну. Не! Вдруг застрянешь и будешь маяться, пока помогут. С нами поедешь.

— У меня ездовой!

— Дай ему поспать. И коней не гоняй. Наши далеконько, но не так уж, чтоб ехать. Сейчас попросим посмотреть за твоим грузом и — шагом арш!

Если бы не Лаврухин, она и впрямь уехала бы. Ни за что не пришла бы сюда, где заставила себя продрать глаза сквозь боль и тоску. Дом, на котором, видно, когда-то густо селились птицы, еле сдерживал от падения почерневшие стены, а крыши не было. Только на дальнем углу висело ее рваное крыло. Поэтому и гнезда, прилепившиеся к верхним краям стен, обнажились. На задворках косилась сараюшка, точь-в-точь как у слепого старика, который пропал. И возле нее странное дерево, прочно запакованное в сухую корку с трещинками, тем не менее развесило вокруг себя кучи мелких листьев.

— Там, — показал Лаврухин на сараюшку.

Всю дорогу она пыталась вооружиться ненавистью к этому лейтенанту — за ложь, за неуместную правду, чтобы найти в себе хоть какую-то опору, но пришла невооруженной. Тронула и рванула дверь сараюшки. Думалось, как все косые двери, и эта отойдет лишь чуточку, а она вся распахнулась и оставила ее у порожка, высвеченной утренним солнцем. Зотов, протиравший лохматой тряпкой сапоги, распрямился и ахнул, вернее, глаза его ахнули, потому что сам он молчал.

С детских лет он считал себя человеком, принимающим решения один раз. Он не вслушивался в беседы, возникавшие иногда, но краем уха невольно улавливал короткие фразы об Асе и комбате. Много о Романенко говорить не рисковали. Но и это казалось ему мужской сплетней, небылицей. Почему? Наверно, потому, что так думать было легче.

Мама ему сказала как-то перед выпускным вечером в школе:

— Ну, вот, Паша, ты выходишь в жизнь.

— Помолись за меня. Ты ведь, как все мамы, беспокоишься: как-то она встретит моего сыночка, эта самая жизнь, которую взрослые слишком часто называют проклятой.

— Не смейся, — попросила мама. — Приготовь себя к тому, Паша, что далеко не все будет так, как представляется.

— А как?

— Труднее. Жизнь обманет не раз. Так тебе будет казаться, доводя порой до отчаяния. Но это вовсе не обман.

— А что?

— Жизнь.

Может быть, он не хотел верить в куцые рассказы об Асе и Романенко, потому что ставил его себе в пример и даже восхищался им? А может быть, ты все еще мальчишка, Павел Зотов? И тихое решение опустилось на дно сердца: прощай, Ася! Это было самое страшное, живому человеку сказать: «Прощай!»

И вдруг распахивается дверь, и у порожка сарая стоит Ася. И какое-то время он молчит остолбенело, а потом улыбается, как самый счастливый человек на этой земле, и шепчет:

— Ася!

Рука его потянулась к шее и застегнула пуговку на воротничке. «Ну, вот, — неожиданно и насмешливо подумала Ася, — проблеял и ни с места. Подошел бы да поцеловал. И не надо слов». Наконец сама ответила, у нее вышло в таких случаях браво:

— Я на коротко! Что это вы — отдельно и в таком дворце?!

— Да солдаты пожалели! Не переносу я храпа!

— Демобилизовать! — прыснула Ася.

— Что там у нас?

Она рассказала про разведку.

— Добыли вам лодку, а сами...

Он вспомнил Агеева, его спину в ремнях, его слова: «Когда в последний раз вы слушали стихи?»

— Жаль.

— Всех не пережалеешь, — сказала Ася.

А в душе ее, как магний у фотографа, вспыхнул немой крик: она не хотела, чтобы ее убили. Казалось, дожидая до полного безразличия к этому и вот впервые за много месяцев войны подумала о себе, и хоть сейчас-то, наконец, за эту ненужную жалость к себе возненавидела до бешенства этого лейтенантика. И повторила:

— Не пережалеешь всех!

— Ася! — спросил он. — Что с тобой? Ася!

— Я сейчас уеду.

— Поедем вместе. Приказ будет такой...

— А чего это вы мне приказываете?

— Как старший по званию.

Он велел ей отдыхать на старой кровати, втащенной в сарайку. Кровать была вдвое шире и к тому же на сетке, в тысячу раз мягче подводы.

— А я отправлюсь по делам.

И растолковал, что сегодня они закончат заготовку и подготовку бревен, и не к вечеру, а ровно к пятнадцати ноль-ноль.

— Ну, какая точность! — съехидничала Ася.

— Так артисты же!

Оказывается, к пятнадцати ноль-ноль настоящие артисты прика-
тят в станицу, чтобы выступить перед ее разнородным гарнизоном.
В бывшем вишневом саду колхоза, где деревья в ошипанной зелени
растут через пятое на десятое: добрую половину их захватчики зимой
порубили на дрова. Там уже сколотили помост, огромный, как сцена.
Вчера весь день стучали молотки.

— Артисты-то откуда?

— Из Москвы!

— Не ври!

Он поклялся, что не врет. Колпак уже наметил все точки для
последней заготовки бревен. А ей пока — спать. И она ответила:
ладно, раз московские артисты, она останется. И тут же вспомнила,
что не для того приехала и пришла сюда.

Он уже снял с гвоздика свою пилотку, а она окликнула его
с кровати, на которую успела присесть:

— Паша! Я тебе только расскажу...

— Потом, а? — попросил он, то ли спеша, то ли догадавшись, о чем
она, и враз испугавшись, как еще не пугался. — Что ты расскажешь?

— Такое, что песенка, спетая тогда, в камышах, цветочком тебе
покажется. Слушай, лейтенант.

— Не хочу! — оборвал он властно, так, что она даже вздрогнула
и возмутилась:

— Что значит — не хочу? Хочешь!

— Времени нет, Асенька! — прикрился он.

— Ах, времени нет! — раскричалась Ася. — А когда будет?

— Никогда, — спокойно ответил он, и это было его последним
решением, которому по армейским порядкам надо подчиниться, как
последнему приказу.

Но она вспомнила слово, брошенное на Протоке, и снова из
последних сил крикнула:

— Заткнись! Благородненский! Уж очень у тебя все просто.

— Конечно, проще пареной репы, — согласился он и по поясу
передвинул кобур с бока на живот. — Вот пистолет. И еще хоть слово
об этом — застрелю. Молчи. Я серьезно.

— Ха-ха!

— Я не шучу, сказал.

Было что-то такое в его голосе, что заставило ее насторожиться.
И она робким голосом спросила еле слышно:

— Почему, Паша?

— Потому что я тебя люблю.

Выражение огорченной и беспомощной растерянности появилось
на ее лице. Она ведь хотела, чтобы было лучше, а он не соглашался, он
мешал ей. Как же быть-то, что делать?

— Тут война, а он влюбился!

— Не железки ж воюют.

— К черту твою любовь! — набрав голоса, прохрипела она, но на этом голос и кончился, и она прошептала: — Очень уж нежная это штука, Паша. Совсем не для войны.

— Дурочка, — сказал он, надевая пилотку, — это война совсем не для любви. И мы скоро скрутим голову этой войне.

— Ишь ты! — снова зашлась она так, что даже закашлялась. — Перевернул!

— А как же! Эта нежная штука сильней войны.

— Почему? — неожиданно засмеявшись, спросила Ася.

— Ну... хотя бы потому, что вечная. А война вечной не была и не будет... Оставить табачку?

Ася помотала из стороны в сторону головой.

— Спи, — сказал он и плотнее придвинул за собой жидкую дверь.

— Паша! — позвала она, но он уже ушел.

Где-то в глубине еще хотелось обидно смеяться над ним, но почему-то вдруг самой себе улыбнулась от счастья, как полоумная.

До сих пор огромная земля вращалась в реве океанов, в безмолвии ледников, в хрустящем гуле землетрясений, в грохоте войн, совсем не подозревая, что придет этот час, ну, не час, пусть одна минута, Асина минута! Ася вдруг перестала бояться слова «любовь». Это выше неба? Чепуха! Это здесь, на земле.

Зеленели вокруг деревья. Такие же кудлатые, как у этого сарая, они во все стороны разбежались по станичным улицам. И трава. Она простегала тонкие полоски на месте павших заборов. Когда приезжаешь с передовой, да еще из камышей, окруживших тебя не на один день, даже хуторок кажется неправдой, полной жизни. А станица всегда казалась ей большим городом. Но сейчас ей словно подарили целый мир...

Да, она существовала отдельно от всего, а теперь сама стала и деревом и травой. Пусть одной веткой, одним цветком, который когда-то раскроется на этой ветке. Тьфу, тьфу, тьфу! Так же о мертвых говорят. А ей, дурочке, жизнь увиделась в этом... Да просто она воскресла! Нужно свернуться калачиком, сцепить зубы и заснуть...

Через несколько часов, открыв глаза, она испугалась, что и в помине не осталось ничего от острого чувства, которое овладело ею. И в которое другие не поверят, если им сказать. Да сама и нужды в таком чувстве не подозревала. А может быть, подозревала когда-то, но забыла. Ася прислушалась к себе. Все было на месте, а может, стало еще острее.

Она воровато огляделась, боясь, что сейчас новое чувство легко разрушится отчего-то. Со всех сторон сарай изрезало щелями, и в них бил свет. Напротив кровати прямоугольником стояли пустые полки из неоструганных досок, лишь на верхней лежала чистая ложка, которой, наверно, ел Паша. В углу к ведру с водой приткнулась табуретка, а на ней — зубная щетка и порошок в железной коробке. Ася встала,

почистила зубы пальцем, представляя себе будущее невысказанное богатство: две щетки рядышком и красивый умывальник. На стене висело маленькое зеркало, в которое он глядел, когда брился. Ей до зеркала не дотянуться — какой он длинный! Смешно.

Ася подскочила, попробовав увидеть себя, да не увидела. Залезла на табуретку, подставив ее поближе к зеркалу, и рассмеялась. Давно она не встречала такой растрепы!

Когда Зотов вошел, она лежала под простыню — над ушами и на висках бантики из бинта. Закрутила волосы в кои веки!

— Пора, — сказал он.

Она лежала, не шевелясь. Оказывается, он есть...

— Все — на концерт, а я за тобой... Чего ж ты?

— У меня часов нет.

— Ну, я выйду, а ты одевайся.

Не шевелясь, она лежала, как прежде, и он услышал в тишине ее дыхание.

— Я выйду, — повторил он, но вместо этого сел к ней, а когда дотронулся до нее боязливими руками, она высвободила из-под простыни свои тонкие руки и обняла его так крепко, что у него закружилась голова.

Все вокруг закружилось. А голову она держала в своих руках и целовала его в щеки, в нос, в глаза, но это так, касаясь их по пути, а искала и находила губы. Или он находил ее губы, с которых почти смахивалась нежная корочка, а она его не отталкивала.

— Паша, — звала она, — Паша...

Потом, откинув голову с остатками забавных бантиков из бинта, большинство которых осыпалось и разлетелось, и посмеиваясь, Ася затылком изо всех сил прижимала его руку к тощей подушке и просила:

— Ну, помечтай о чем-нибудь. Хоть капельку!

— Вслух?

— А как же я иначе услышу?

— Зачем себя обкрадывать?

— Не понимаю.

— Все равно будет лучше.

— Что это? — спросила вдруг Ася о другом.

Рев самолета начал оседать с высоты и скоро наполнил сараюшку, разрастаясь. Ася не сразу поняла, что самолетов было много. И вот уже их рокот перешел в длинный свист, незатихающий, а вырастающий тоже. Все выросло. Не заставил себя ждать и грохот разрывов. Земля, принимавшая удары, затряслась, во всяком случае, здесь...

Ася быстро одевалась, сдергивая с себя и разбрасывая по земляному полу последние бантики.

— Это в той стороне, где сад, — лихорадочно говорил Паша.

Она схватила свою санитарную сумку.

...И на Кавказе и на Кубани Ася нередко попадала под бомбежки, а такое и она видела первый раз. Десять — пятнадцать «юнкеров», развернувшись хвостами, улетали серой облегченной стаей, сопровождаемой клубочками зенитных вспышек. Низкорослые вишни, укутанные дымом, где горели, подавшись огню без спора, а где пока пустили его лишь ползком карабкаться по тонким стволам и срывать-ся. Глаза выхватывали в дымящихся ветвях человеческую руку, горстью к небу, кусок одежды с болтающимся погоном...

Убитых увозили на грузовиках, которые, возможно, не так давно привозили сюда живых. Этих грузовиков не хватило для всех. Десятки недавних зрителей ложились в неподвижный строй у дороги, пока не подкатила цепочка новых грузовиков, а может быть, и первые вернулись, кровь на откинутых бортах выдавала их.

Треща и расшвыривая искры, пылал сбитый вчера помост, недолгая сцена для артистов, из которых многие уже никогда не подымутся на другую. Ася пробежала мимо, согнутой рукой прикрывая глаза от искр.

— Туда! — крикнул ей встречный голос, направив за длинный бугор, похожий на кусок железнодорожной насыпи.

Тут опускали раненых в некошеную траву, и трава прятала их искаженные лица. Луг за насыпью стонал разными голосами. Персонал из окрестных медицинских точек прибывал, но все равно рук было мало, и Ася тут же оказалась нужной. Для быстроты рвала бинты зубами. Над третьим или пятым раненым, разведя руками траву, чтобы проверить, жив ли этот тощий солдат с большими кулаками, застыла и тронула его лоб:

— Герасим, миленький! Колпак!

Ася позвала Зотова, но лейтенант пропал в поисках своих. А Колпаков как-то мучительно, не с первой попытки, чуть приподнял дрожащие от напряжения веки.

— Ася? — вопросительно прошипел он.

— Миленький, молчи, — уговаривала она, разорвав на нем издырявленную осколками гимнастерку от воротника донизу и отхватывая от нее мешающие куски садовым ножом — да, его так и называли «садовым», острый и кривоватый нож санинструктора, уж очень похожий на мирный садовый нож, который, наверно, за свою жизнь подержал в руке Колпаков.

Столько было ран в его теле, жилистом, но таком небольшом, что на него и половины хватило бы! Иные кровоточили, как старательные ключи. Жгуты, жгуты сначала, чтобы остановить кровь. И резиновый и матерчатый... И шины...

— Палки! — крикнула Ася.

По лужайке бегали солдаты, помогая санитарам, раздавали сломанные или срубленные с вишен ветки для шин. Чего только не

подкладывала Ася под сломанные солдатские кости! Иногда шла и винтовка раненого с ее широким ложем.

Понимая все, в том числе и бесполезность ее неразумного отчаяния, и желая ее утешить, Колпаков виновато выдохнул:

— Вот...

А она встала, разливая спирт и бинтуя раны, неуверенная, слышит ли ее Колпаков, но просто так самой было легче:

— Письмо тебе пришло! Жена жива, и дети здоровы. Вся рота привет тебе передала.

Она знала по опыту: с тяжелыми ранеными, перевязывая их, говори и говори, не давая забыть. Случалось, говорила уже с мертвыми. Но Колпаков еще дышал, прихлебывая воздух.

— Сказали все, очень ждут, новые стихи послушаем.

— А стих... его, — с облегчением ответил Колпаков, — Зотова...

Бинты кончились, и Ася выпрямилась на миг, стоя на коленях в траве, глянула в сторону дороги: нет ли на виду санитарной машины — и только тогда сообразила, что сказал Колпаков. Обычно она почти не вслушивалась в бессвязный ответный лепет раненых. Но сейчас до нее дошло. Она повернулась к Колпакову, он что-то еще пытался прошептать. Асю охватили сразу и гнев на жизнь, где все так перепуталось, и досада на свою беспомощность, и желание плакать от этого. Она наклонилась, чтобы вытереть Колпакову лицо с морщинками, в которых собрались капли холодного пота. Хилая грудь его недолгой, летучей дрожью вздрогнула, как от ожога, и он разметал по траве свои несуразные кулачищи.

— Ася! — послышалось с другой стороны.

За спиной возник Зотов, она подняла глаза, чтобы увидеть его, но сначала увидела Лаврухина — шагах в пяти дальше.

— Наши в станице, — сказал Зотов, — Лаврухин нашел меня...

— Мы сзади были, как пришли. Как попали, так и были, — прибавил Лаврухин, подходя. — Там щели старые, в них много укрылось... А Колпак сказал, я ближе, мне, мол, там место заняли, шутки ладил... Белгородский Емеля! — и отвернулся, елозя тылом пухлой ладони по губам.

— Принесите мне бинты, — не поднимаясь с колен, велела Ася. —

А его можно взять...

Они принесли бинты и подняли Колпакова.

— Подождем у дороги, — обронил Зотов.

Уложили Колпакова на свою подводу и, дождавшись Асю, повезли потихоньку. Она еле перебирала ногами, хватаясь то за лейтенанта, то за Лаврухина. Где-то, втянувшись в шаг или отдохнув, вдруг вспомнила:

— Он сказал про стихи...

— Это неважно!

— Но все же... Для чего?

— Для меня. Он сам предложил. Вот увидите, говорит. Я не решился бы прочитать. Ни за что! А он записал и выучил!

Ася глянула на лейтенанта, пугаясь, что это он мог лежать, покрытый плащ-палаткой, и радуясь, что это не он и не она, что они спасли друг друга и теперь шли и говорили.

— Не смей никому, Ася, про стихи.

Она кивнула.

— Я много напишу и буду читать одной тебе. А это... Вспомнится, и вспомним его.

В середине станичной улицы встретили слепого старика, которого считали пропавшим, а вот он, нашелся! Тогда, на отдыхе, Ася спросила его: «Отчего глаза-то, дедушка? Может, фрицы древесным спиртом угостили, а вы отведали?» «Я жизни отведал!» — сказал он. Но, видно, не всего еще. Оглушило небывалой бомбежкой.

— Господи! Накажи их! — бормотал он.

Опираясь на винтовку, неподалеку торчал солдат, какой-то странно новенький, наверняка если не с призывного пункта, то из каптерки, к старику вроде бы непричастный.

— Где живете, дедушка? — спросила Ася.

— Хату сжег «горбыль» одной зажигалкой, где-то забыл метнуть, донес до меня. Теперь я с солдатами. У дороги на Гастагаевскую. Выхожу, Валуху жду-встречаю... Везете кого?

— Колпакова. Может, помните?

— Памяти-то уж нет почти. Кого, сказали? Колпака? — Старик шагнул к подводе и остановился, как споткнувшись. — Справный солдат...

— Был.

Вскинув руку, старик хотел что-то сдернуть с головы, но она была непокрытой, и он опустил пальцы на лысину с седым, как на одуванчике, пухом и повторил:

— Господи! — И перекрестился.

— Идем, что ли, старый черт, — вдруг позвал его солдат. — Затаскал меня! Вожу, вожу.

— А куда ты его? — удивился Зотов.

— В комендатуру.

— За что?

— Нас привезли в станицу, разослали по всем концам — задерживать таких. Думаете, так просто налетели? Им сигнал был по радио о здешнем мероприятии!

— Да он же слепой! — воскликнула Ася.

— Разберутся. Мое дело — привести. Велели в комендатуру, а никто не покажет, где она. Спрошу, привожу — нет!

— Старика мучаешь.

— Говорю, он меня замотал.

— Ну, и мало тебе, умнику. Этого слепого все знают.

Солдат не обратил серьезного внимания на слова лейтенанта.

— Слепой! Как скажут, где комендатура, он бежит туда шибче зрячего. И без палки. Вот что подозрительно.

— Да он родился здесь, вырос и всю жизнь провел!

— Каждую канавочку знает,— добавила Ася.

— Привезу в город, где родилась и выросла, завяжу глаза, скажу — веди в комендатуру, посмотрю, как побежишь!

— Я не знаю, где комендатура.

— А я знаю,— сказал Зотов.— Двинулись. Разберутся.

— Факт,— сказал солдат, приободрившись.

Навстречу попались подводы с тяжелыми минометами. Бомбежка, конечно, разыгралась, потому что допустили беспечность, прозевали «юнkersы» и возможных наводчиков. Так мало этого! Теперь в открытую везли солидные стволы, заранее говорящие о многом, а солдат попусту таскал слепого старика...

Возле калитки из кровати спинки старик остановился:

— Вот моя хата...

Подвода с Колпаковым свернула и поехала по мягкой золе. Требовалось найти хоть старые доски и сколотить гроб.

— Я сделаю,— сказал Лаврухин.

— А тем временем мы вернемся. Идем, Ася? Или сил нет? Я хотел бы, чтобы ты глянула. Там бугор с тополями. На бугре и положить бы Колпакова.

— А комендатура где? — напомнил о себе конвойный.

— Рядом. Знаете, дедушка, бугор и на нем — четыре тополя?

— А как же! Я их и сажал. Тогда глаза мои чуток понимали.

— И комендатура точно там, товарищ лейтенант? — опять спросил солдат для надежности.

— Там, там. Еще не дадут вырыть могилу по соседству с собой.

Тополя уже открылись — стояли не в ряд, а кучкой, листьев было много, и зеленая их гуща трепетно шелестела. Зато комендатуры рядом опять не оказалось, и упрямый солдат увел старика, а Зотов удивился:

— Мне же сам Колпаков сказал! Я боялся, что бревен не наберем, и велел ему эти тополя свалить, еще с дороги заметил их. А он вернулся и доложил: «Там комендатура». «Где?» «Возле самых тополей. Рубить — ни-ни!» «Хорошо, свой же комендант, договоримся». «Нет, плохо. Он молодой». «Как молодой, так плохо? Молодые полвойны на своих плечах везут!» «Кто спорит? Но, бывает, кричат. Вот и вы уж кричите». «Для дела бревна нужны, а не тополя». «Их дело — расти. А бревна будут». И нашел ведь. А тополя спас.

— От тебя? — удивленно спросила Ася.

— От меня. Без комендатуры.

— Он был сам себе комендант.

— Четырех тополей.

— Хотя бы.

— А может, и пора уж думать о тополях? — спросил лейтенант, и ей хотелось согласиться и даже сказать «пора», но это было так ново и смело, что она не решилась, а лишь прошептала:

— Ты лучше знаешь...

7

Был день, когда малярия снова разгулялась вроде палача. Неистощимой дрожью она колотила изнутри, и уже казалось, вытряхнет душу, но, видно, отложила это до другого раза. И утром Романенко опять выскоблился до синевы на щеках и стал немилосердно шлепать по ним ладонями через каждые пять минут, чтобы порозоветь к приезду командира полка.

Впрочем, что касаясь его батальона, то вернее было сказать, к приходу: сюда не ездили, а едва добирались. И командир полка, довольно грузный, хоть и низенький, майор, добравшись, долго и тяжело отдувался, не глядя в его лицо, и прежде всего спросил:

— Чаю дашь?

Едва не крикнув Марасула, Романенко приказал новому ординарцу побыстрее принести чай и уже понял, что особенно радоваться не придется. Обычно майор, поручая ему непростые задачи, предупреждал в расчете на ответную мобилизацию: «Радуйся!»

Сейчас, пока его помощники сидели с начальником штаба за картами, готовились к разговору, он хлебал чай и жаловался:

— Дорожка к тебе!

— Лучше не бывает.

— Гиблое место!

«Не сам я себе его выбрал, — горюя, думал Романенко. — Худший кусок подложили мне плавни...» В самом деле, сзади была топь, а перед батальоном на добрый километр расстелилась глубокая и голая вода со щеткой выжженного камыша, над которой всю ночь друг за дружкой повисали и таяли осветительные ракеты. Всей жизни, если доведется ее прожить, не хватит на удивление: как Агеев, Марасулов и Пышкин одолели этот океан, проникли в заводь за вражеской дамбой и вывели оттуда лодку. Конечно, дышали сквозь камышины, окунаясь в воду, но сказать-то просто...

Майор напомнил, что комбата еще призовут в политотдел дивизии, пиши объяснение, как погиб его замполит, а оно самое незатейливое: цел тот, кто ничего не делает, а это ведь война, тут нельзя ничего не делать. Он не посылал Саню Агеева, но и не остановил его, зато солдаты сейчас не только заклепали кусками меди от снарядных гильз

дыры в бортах, но и углем нарисовали на лодке звезду и написали: «Агеев».

А место, конечно, гиблое...

Поэтому наступать начнут километрах в двух севернее, с позиций другого батальона, и еще в нескольких километрах южнее, где плавни, истощаясь, подпускали к себе дородную станицу. Ее возьмут соседние части. А его дело — проявлять огневую активность, для чего ему и позволили соорудить плавающую батарею, хотя минометы станут не менее нужны и на суше, ждущей их впереди, потому что пушек туда сразу не подтянешь. Зотову наказать, пусть минометы бережет, пловец! А вообще...

— Активность такая, будто и ты перешел в атаку. Беспреданно кочевать и стрелять. Беглый, беглый, беглый! Для этого радию ему даем. Скажи, чуть ли не сам я приволок! Значит, стрелять так, чтоб без промаха!

— Понятно.

— Вопросы?

— Когда?

Командир полка чуть-чуть развел руками.

— Не мы начнем. Мы будем поддерживать. Весь фронт будет поддерживать, чтобы противник не перебросил туда ни дивизии, ни полка, ни роты, ни одного ствола.

Спрашивать — куда, было бесполезно, да майор, возможно, и сам не знал, но ведь думать не запретишь себе. В тишине болотных ночей, склоняясь над двухверстками с красными и синими зигзагами, Марат Романенко часто затевал молчаливые военные игры, становился то нашим генералом, а то и генералом противника, ломал голову беспощадно, сам с собой неумолимо спорил...

Однако, когда началось, он честно разжаловал себя, признав если и генералом, то никуда не годным. Эта точка даже и не обдумывалась им для удара, как самый укрепленный участок у врага и самый раскаленный — там огонь и штурмы не затихали. Левый фланг не только здешнего, а и всего невообразимо длинного фронта, протянувшегося на многие тысячи километров через равнины и возвышенности, города и деревни, от Белого до Черного морей.

Здесь, в конце фронта, стоял Новороссийск. Лучше сказать, лежали его развалины и пепел, каждый день нагревавшийся заново... За Цемесской бухтой, в предместье города, держали свою землю десантники, уже давно приковывая к себе внимание. Они высадились на укрепленный, перенасыщенный огнем, заминированный берег с дерзостью, казавшейся неправдоподобной и выдавшим виды людям. Многие корабли немцу удавалось поджигать минами, снарядами, и черными зимними ночами десантники штурмовали крутые откосы при свете горящих на волне своих же катеров и мотоботов.

Освобожденная земля была малой, ее так и называли — Малая. Немец грозился, что за сутки сбросит малоземельцев в море, а они держались уже почти две трети года. В свое оправдание — об этом еще Саня Агеев ему рассказывал — немец называл их то коммунистами-фанатиками, то трижды моряками, а это были, как писала фронтовая газета, обыкновенные герои, если, конечно, вдруг подумалось Романенко, герои могут быть обыкновенными.

Короче: Малая земля так и висела над корнями голубого «дерева» фашистской обороны занесенным топором. Отчаявшись столкнуть десантников в море и отделаться от топора над собой, немец принялся одевать панцирями дотов развалины у единственной приморской дороги. Всю весну и лето он старательно врастал в землю железом и бетоном, пока не счел дешнюю оборону неприступной.

А именно здесь и началось. Взяв в союзницы неожиданность, сюда и ударили «топором» Малой под гром артиллерийских стволов, оживших среди ночи. «Ну, что ж,— сказал бы Колпак,— дерево и валят с корня... Храмотно». Да непросто это было... но ведь на войне иначе и не бывает! Пулеметные глаза пристально смотрели в узкие прорези из-под бетонных лбов дотов, так же недремлюще дежурили наготове пушки и танки. Заискрило, загрохотало... На израненные причалы Новороссийского порта тут же высадились новые десанты, чтобы поддержать атаку. Брели не один только город, так начался развал всего каменно-железного кавказского фронта врага, дальним флангом увязшего в плавнях, где ему, Романенко, довелось прожить и весну и лето...

Кровопролитные бои в Новороссийске не прекращались, и, нуждаясь в пополнении, противник потянул туда солдат и огневую силу с других участков Голубой линии, но этого момента ждали, и в дело вступило беспощадное взаимодействие. Плавни заговорили...

Прорыв в плавнях, грозящий захлопнуть дороги отступления с Голубой линии, до сих пор вроде бы надежной, само собой, панически пугал врага. Плавни широко нависали над этими дорогами, и было понятно, что в страхе перед окружением немец уцепится за свои дамбы не на жизнь, а на смерть. Значит, наступать, драться! А приказ?

Все дни и ночи до этого Зотов мастерил плоты. Бревна к ближней протоке подвезли по одному, связали по три-четыре штуки и, сделав хорошую дугу по воде, а где и перетаскивая их волоком, как предки на древних речных путях перетаскивали суденышки, дотолкались шестами до своих позиций. А уж здесь, заранее подогнанные и размеченные, собрали, усердно пряча в камышах, потому что над плавнями, лишенными зениток, с рассвета дотемна или до прилета наших истребителей висели «рамы», фашистские самолеты с раздвоенными фюзеляжами, разведчики-наблюдатели.

На всякий случай, если потопят сейчас или в бою, Зотов приказал длинными бечевками привязать к минометам поплавки от рыбацких

сетей. Раскопали их в сарае на колхозном дворе. В случае беды поплавки, темные, пористые, здоровые, как буханки черного хлеба, покажут, откуда доставать минометы.

На «сушках», даже и на тех, что были чуть ли не впритык к своей дамбе, складывали мины. Про запас. Увидев это, Романенко взбушевался:

— Блиско! Рассчитывать надо!

— Расчет на то, что вперед пойдем. Убрать?

Разгоняя конвульсии по лицу, Романенко сказал:

— Стреляй, Зотов, чтобы и дышать было некогда.

— Есть!

Среди ночи Лаврухин полупшепотом спросил лейтенанта:

— Не спится?

— Откуда взяли?

— Так курили опять! И крутитесь...

— Ничего придумать не могу.

— Наговариваете!

— Не военная косточка...

— А поплавки? Это ж головой надо было сообразить, а для этого голову иметь.

— А это как раз не я...

— А кто?

— Десантники с Малой. Один артиллерист все четыре пушки на берег доставил так.

— Как?

— Ночью, когда подходили к берегу, его мотоботы с пушками потопили снарядами. Огонь сплошной, не прорваться. Но этот командир ко всем пушкам заранее велел привязать поплавки, и утром — на тебе, плавают голубчики и показывают, где пушки, — вынимай! И достали всю батарею со дна морского. Целую!

— Е-моё! Вот это командир!

— А я лежу и думаю, — вздохнул Зотов, — немец будет стараться сжечь нас, потопить, заставить заткнуться...

— Закон боя.

— А мы не имеем права погибать, Лаврухин. Позже — тоже не хочется, конечно, но ладно уж, черт возьми! А здесь, в плавнях, не имеем!

— Еще б! Главная мощь батальона.

— Не главная. Единственная... Не имеем права погибать, — с досадой повторил Зотов. — Такой пустяк!

— Е-моё! Если б кто изобрел, как уцелеть на войне, ему б за этот пустяк отлили памятник из чистого золота, я думаю...

Асю за эти дни он видел один раз. Случайно или нет, но она вдруг появилась за спиной, и он почувствовал это.

— Вам чего, Панкова? — оглянувшись, спросил ее при солдатах, а потом подступил по мятым кочкам. — Ася! Тебе чего?

Она смотрела на него так, точно подошла лишь для того, чтобы услышать, как он назовет ее. И все.

— Ничего.

— Но ты тут зачем?

— Я? Мимо.

Ни слова не сказав больше, она пошла, улыбаясь. Ася улыбалась. Небывалое! Он вернулся к своим, а когда вновь поискал ее глазами, чтобы еще раз, хоть вскользь, увидеть в камышах узенькую талию, перехваченную чересчур широким для нее ремнем, увидел одни камыши.

8

Как всегда, рыжая луна всплыла над плавнями и покатилась бездомным шаром, разбрасывая отражения, когда батальон открыл огонь, проявляя свою активность. Судьба! Романенко матерился...

Уже гремело с севера и с юга. Барабанно стучали там пулеметы. Гул множился и разрастался, вода, как особое зеркало, отражала звуки ярче земли. Там, верно, уже брались за шаткие камышовые плотки и за лодки, а ему только стрелять... Стреляли много — и мы, и немец отвечал, такой огонь вели, что даже комары исчезли от страха.

Зотов выбрал себе наблюдательный пункт неподалеку от Романенко и руководил стрельбой по радио. С треском рвалась тьма, и выстрелы неизбежно вырисовывали на полотнище ночи схемы обеих оборон. Пулеметы обнажили свои убежища, и, пользуясь этим, Зотов старался накрыть их. Хоть и не кричал, а охрип, без конца повторяя:

— Беглый огонь!

А может быть, и кричал невольно.

Понятно, обнажали себя и его минометчики, и все ближе к ним падали вражеские мины, визжа и роя воду со свинячьим упорством. Но плотов там уже не было. Определяя быстроту чужой реакции как бы интуитивно, а не по хронометру, Зотов опережал врага, успевал убирать свои захлестанные водой плоты. Кочуя, его минометы оживали в новом месте и опять ускользали раньше, чем на них обрушивался ворох чужих мин. Приловчился. И еще капельку везло, должно быть.

И еще, как он ни храбрился в ночной беседе с Лаврухиным, за жаждой победы смущенно пряталось самое простое желание — жить после всех этих гиблых мест.

Лодка «Агеев» металась по плавням, подвозя мины к плотам, и треск ее мотора глож в неумолчной пальбе. Какой урожай с обеих сторон все время собирала смерть, не остывая на лету! Четыре огневые точки на той дамбе, по крайней мере половина из открывших себя за

ночь, замолчали от наших мин, может, и навсегда, и рация Романенко доложила об ослаблении огня командиру полка, бывшему в соседнем батальоне, а он похвалил всех и передал, что лично Зотову объявляет благодарность. И весь сказ.

Не дождавшись ничего определеннее и прибегая к плохо маскирующему открытую речь словесному камуфляжу, Романенко спросил, может ли он выступить на собрании, потому что ему, кажется, есть что сказать. Он просил разрешения на атаку, уверяя, что у него «все обдуманно для речи», то есть имеются плотники, заготовленные для переправы, а майор ответил, что «аплодировать будет некому», что значило: для развития атаки нет резерва, уже приданного другим.

Было это перед самым рассветом, когда стрельба вынужденно поутихла, остывало оружие и люди передыхали. А Романенко нервничал. Зотов поделился с комбатом новым решением — раздвоить свою роту, половину оставить в камышах, а другую подтянуть почти к открытой воде. Тогда разным взводам можно будет вести огонь из разных мест и в разное время, прикрывая друг друга. А немца свяжет эта, как сказал лейтенант, новая метода.

Романенко махнул рукой, даже забыв передать ему благодарность от командира полка. Если бы атака! Пригодилась бы и «метода».

— Отдохни.

Но с отдыхом ничего не вышло. На этот раз первым открыл огонь противник, еще раз доказав, что на его дамбе действует на три пулемета меньше. А четвертый либо заменили, либо починили, но он очнулся. Чуть раньше ожили наш север и юг, там продолжалась попытка продвинуться, чего не удалось в минувшую ночь. И гиблое место тоже застрочило, забухало. Зотов поступил, как сказал комбату, и это пока придавило вражеские минометы, будто непрерывной хваткой схватили крикунов за горло.

Так прожили еще день и еще вечер. За полночь на дамбе, за разливом, капитально умолкли еще два пулемета. То ли их достали зотовские мины, думал Романенко, то ли их сняли для Новороссийска, такого далекого и близкого. Через бездорожные плавни, через воду надо было идти, идти, чтобы поддержать этим новороссийцев, пробивших первые бреши в фашистской обороне, и самим выбраться наконец из гнилых топей.

А слева и справа вторую ночь грохотало все на том же месте. Противник ухватился за свои дамбы цепко.

И прошли еще утро и день, и лишь к новому вечеру Романенко по радио принял от командира полка пароль атаки и открытый текст — жди! Понятно. Чей-то резерв, уже, наверно, тронувшийся по воде, передавался ему. Только он выпрямился, чтобы позвать Зотова, как тот сам возник и выдохнул:

— Агеев погиб!

— Как-нибудь это уже не новость! — обозленно отозвался Романенко. — Ты в себе?

— Лодка! — поправился лейтенант.

И Романенко чуть за голову не схватился. Лодка, доставлявшая мины к плавающим минометам, легко и быстро находившая их в камышах, так и летавшая на своем подвесном моторе... Нет ее! Он еще переживал удар, как будто в него самого попало, а мысли уже искали замену. Каждый бой — это еще и поиск замены: человеку, оружию, замыслу...

Ну, лейтенант, как нарочно, выбрал подходящую минуту для своего веселого сообщения! («Сволочь какая!») Но в бою многое случается, как нарочно, и, слушая Зотова, предлагавшего пока заменить лодку камышовыми плотиками, Романенко потребовал немедленной связи с командиром полка, чтобы известить его об этой потере. Операция в гиблом месте уже перерастала масштабы батальона. Командир полка должен знать...

Между тем лейтенант говорил не только о плотиках, но просил и людей, у него были убитые и раненые. Хорошо еще, что минные склады покуда не взорвались!

— Ты счастливчик, Зотов! — сказал капитан, как на Протоке. — Хоть с минами у тебя в порядке!

Однако и с минами порядок был неполный. Запасы истощались. От них скоро ничего не останется, если вот так и толкаться на одном месте, проявляя лишь огневую активность. И плоты угробят! Немец при любой возможности все усиленнее бил по воде, расшвыривая мины и явно охотясь за плотами, о существовании которых догадался по быстрой и частой перемене огневых. Вдруг лейтенант сказал, что сам сожжет свою батарею. Так и сказал. Оказывается, он с утра распорядился вязать ложные плоты из полусгнивших бревен и досок-подстилок, еще державшихся на старых позициях, на брошенных «сушках», и теперь предупреждал комбата:

— Будем взрываться и гореть для немца, не пугайтесь.

К ложным плотам привязали головые шашки, чтобы взорвать в нужный момент. Нет, этот лейтенант не только счастливчик, но и не совсем пустая голова...

Что же так долго ползет резерв? Где он?

Уходя в темень и тишь укрытий, минометчики взорвали покуда три ложных плота. Пламя осыпало искрами сухие поросли и по-заячьи зябко дрожало на воде. Четвертый бессмысленными чурками и щепками рассыпался над камышами от чужой мины раньше, чем его взорвали свои, и унес еще две жизни, так и не дождавшиеся твердого берега.

Там, на вражьей дамбе, похоже, всерьез поверили, что разделались с нашими минометами. И уже не искали их. А они выводились почти к открытой воде, чтобы пересечь ее вслед за пехотой, готовившейся

к своей необычной атаке, — по два человека на шатком плотике, и шест сначала у того, кто посильней.

Наконец командир полка сквозь камыш сам привел свежий батальон на баркасах, обложенных камышовыми дорожками, которые саперы называли штурмовыми мостиками, их раскатывали по воде, а пока они были свернуты... Майор вызвал лейтенанта Зотова и отдал ему свою лодку для подвозки мин к плотам с минометами. Был он утомлен теми бессонными ночами, в которые пока не удалось выйти из плавней, и хотя сказал, чтобы лейтенант вертел в своей гимнастерке дырку для ордена за плавающую батарею, был при этом чересчур угрюм.

Зотов же подумал, что до рассвета пехота может овладеть злополучной дамбой, которая намозолила глаза за весну и лето, темнея под солнцем и тая в ночах и туманах, и минометчики тоже наконец ступят на эту дамбу, догнав свою пехоту, и тогда он увидит Асю... «Только бы она была жива после атаки, только бы...»

Немец затих. Похоже, уверенный в своей безопасности, решил отоспаться за предыдущие ночи и даже не пускал осветительных ракет. А плотики уже пошли в тишине... Минометы помалкивали, будто их, и правда, не осталось в живых. Плотики прошли больше половины своего пути, когда с дамбы, к которой они приближались, суматошно взметнулась первая ракета, и раньше, чем ее шипение стало светом, Зотов выпустил свою красную ракету — сигнал того, что минометчикам, напряженно ждавшим этого, хватит держать мины на весу, а можно опускать их в трубы.

Все было настолько неурочно для врага, что он никак не мог опомниться. А плотики, возникая в блеске разрывов, уже касались далекой дамбы. Они как бы плясали на воде, и Зотов понял, что это вражеские разрывы разболтали ночную воду, и стрелял, стрелял по далеким зарницам, а голос Романенко сладостно ругался в радиотрессе и требовал: «Огня! Еще огня! Та-та-та!..» И это относилось и к Зотову и к тяжелым минометам, которые прибыли с резервом, заняли «сушки», отмеченные на карте как пригодные, и уже стреляли, вздыхая гулко. Голос Романенко вовсе отлетел, замолчал и вдруг прорезался донельзя искаженным и доложил комполка, что почти весь батальон уже на дамбе. И он сам на дамбе.

Туда сейчас же ушла новая волна людей на баркасах, которые скоро вернулись и еще взяли солдат.

Все произошло, казалось, легче, чем ждали. Может, просто немец понес ноги со своей дамбы, потому что южные части уже ворвались в станицу? Но скоро узнали, что отчаянным контрударом фашисты вытеснили их из станицы. А потом, когда минометчики, фарсекая разлив, шестью отталкивали и отталкивали от себя пустые плотики, поняли, скольких гиблое место навек взяло себе. На этой короткой,

в сущности, дороге. И раньше, чем подошли к дамбе, сами оставили под водой один свой расчет.

Пехота непрерывно просила по радио огня, и Зотов развернул два своих «боевых корабля», чтобы отозваться не словами. Стреляли долго. Голодные минометки даже шутили, что скоро кишки к спине приклеятся. В шумном гуле боя долетел залп шестиствольного миномета, клокоча над водой взвизгивающим хохотом, и один из плотов исчез в разрыве, и... ни людей, ни миномета, ни поплавка. Зотов видел, как метрах в двадцати от него из воды вынырнул горящий обломок бревна, он еще плыл стоймя.

Завтракали на вражеской дамбе. Друг на дружке лежали тут мертвые в гимнастерках, поблекших от солнца и воды, и в мундирах. В общем навале тел под грузом соседней у кого-то вскинулась рука, а то и две, будто схватка продолжалась.

Ротный старшина, догнавший с сухим пайком, кормил людей ветчиной, казавшейся на редкость вкусной. На карте, которую Зотов изучал за завтраком, белые пятна земли еще усатились голубой штриховкой. До Темрюка земля была в голубых сетях. И Зотов решил пока не расставаться с плотами, как с транспортом хотя бы, чтобы не тащить минометы на своих спинах. Дожевывать, солдаты невольно растягивались на земле. Надо поднимать, а то заснут! Однако и сам положил под грудь свернутую плащ-палатку и уронил голову на согнутые руки лбом — минуту, даже меньше!

— ...И откуда у крохи силы?

— Волокет кого-то... Впряглась лошадкой.

— Е-моё! Это ж Ася! Встали, раз-два!

Лишь при слове «Ася» лейтенант тяжело поднял голову и рывком разодрал железный шов, сомкнувший глаза.

Всунувшись в петлю и падая вперед всем телом, казавшимся отсюда игрушечным, Ася тянула свой груз, держась ближе к краю дамбы, где земля была мокрее и тяжесть поддавалась послушной. Лаврухин и еще два солдата приближались к Асе. Скорее! Наконец Лаврухин сменил ее в петле, а двое взялись за тяжи по сторонам.

В лодке-волокуше, сколоченной из досок и очень похожей, честно говоря, на гроб, лежал один раненый, а на плащ-палатке другой, покрупнее. Связав веревочный тяж с углом плащ-палатки, Ася и тянула. Ее с санитаром Малаховым военфельдшер оставил, оказывается, пройти по дамбе и проверить лежавших: у нее было особое чутье на еще живых. Вот, одного нашел...

— А второй? — спросил Зотов.

На плащ-палатке лежал сам Малахов, он давно был ранен, но еще носил других, пока не свалился. Они повезли Асю и раненых на своем плоту через воду за дамбой, и пока плыли, Зотов сообразил и скамандовал:

— Старшина! Накормить санинструктора!
Запомнилось, с какой охотой Ася ела, распуская ветчину на длинные нити...

За водой, на берегу, открылась палатка с красным крестом.

9

Плавни кончались неуступчиво и непуतेво. Только покажется крошечная равнинка вроде поля, как она уже в грязь истоптана пехтурой, торопившейся к станице. Романенко подошел к последнему хутору перед станицей и потребовал огня. А минометчики как раз вплявали в озеро. Ну что ж... Еще раз с воды.

Озеро густо облепила грязь, по одну руку стоял камыш, а по другую торопливо, как на водопой, сбегала дорога через прибрежную лужайку, похожую на сельский пляж. Может быть, когда на земле была мирная жизнь, сюда прибегали купаться из хутора.

Едва открыли огонь, немец огрызнулся. Серия ответных мин никого не убила, но смахнула в воду весь расчет Лаврухина и оставила на мутной поверхности озера, близ камышей, неподвижный поплавок, туго натянувший бечеву. Это было так обидно, что Лаврухин, оглохший от взрыва, орал, утешая:

— Е-моё! Достанем, лейтенант!

Станица прижималась к морскому лиману, вытянувшему горловину к шуму волн. Из плавней подошло немалое войско, но с небольшим огневым запасом, и бой из-за этого никак не мог набрать стремительной силы... На вторые сутки взяли наконец станицу, и в ней пахло морем, а над крышами полуразбитых хат, легко пронзая воздух острыми крыльями, реяли чайки. Они голосисто кричали о каких-то своих птичьих заботах, а думалось, что приветствовали жителей, возвращавшихся к полусгнившим ступеням, по которым когда-то с утра до вечера бегала детвора.

Колыбели, превращенные нуждой в тележки с самодельными колесами, тачки, повозки, запряженные счастливыми женщинами с измученными глазами и беззубо улыбающимися стариками, — все это катилось из камышей к станице. Визг колес, постоянный и несмиримый здесь от сырости, не обрывался...

Набившись в станичные хаты раньше хозяев, солдаты валились с ног и, как самые недолгие гости, засыпали на полу, забыв поесть. Во всех этих, некогда построенных для человеческого счастья домах, а теперь полудомах не было никаких постелей, и солдаты по опыту первобытной доброты, заложенной в их военном быте, помогали товарищам устраиваться поудобнее, вместо подушек подставляя друг другу плечи, животы, локти и колени.

Очнувшись от прикосновения первой капли света, Зотов вскинулся, с оглядкой освободил свои руки и ноги из объятий других минометчиков, разыскал и принялся будить Лаврухина. Хоть стреляй над ухом! Сердиться начал, тут же остановив себя, однако, простой истиной. Люди привыкли, поначалу безрассудно, подчиняться команде. Ее не было, а на такие вот толчки и подергивания после целого лета в гиблом месте грех обращать внимание.

Наконец Лаврухин разлепил глаза, точно это было трудней всего на белом свете, и отполз к стене, у которой кучей лежали сапоги. Зотов шепотом, до смешного ненужным в этой обители солдатского сна, спросил, будить ли еще кого или попробуют вытащить миномет вдвоем.

— Попробуем, — ответил Лаврухин, оканчивая возню с портянками и зевая.

Ему понравилось это. Поднимать солдат не хотелось — за эти три ночи в бою никому из них не удалось по-настоящему проспать и трех часов, а здесь был какой-никакой, а дом, казавшийся сказкой после длинной жизни в камышах, и был сон в доме. Лаврухин — старый солдат, он знает, что на войне нет ничего дороже часа спокойного сна, не лишнего, нет, а одного из многих недоспанных. Может, и самого Лаврухина стоило бы пощадить?

Но уже вышли на улицу.

— Асю не видели случайно? — спросил Зотов.

— Как же! — весело удивился спутник. — Я вчера им в санчасти колпаковскую гильзу зажигал. Горит, что тебе электро! Показать вам, какой дом? Здесь!

И Лаврухин остановился возле дома, мимо которого едва не проскочили с разбега. Он был такой и не такой, как все, этот дом. В нем спала Ася.

— Тихо, — сказал Зотов.

— Которые нормальные, те спят, конечно, — ответил Лаврухин, зевая от всей души и громко, до отказа распахнув свой рот, будто для выстрела.

Километра два пустой земли до озера, сплошь в печатях, чуть ли не вплотную поставленных на грязь каблуками, пересекли незаметно. Озеро натянулось, как выглаженный от морщинок лист станиоля, который мальчишки, слопав шоколадную конфету, утюжили обычно о край стола.

— Раздвигаться? — без надежды на помилование спросил Лаврухин, остановившись на берегу.

Зотов, улыбаясь, расстегнул на себе гимнастерку.

Поплавок был цел, сразу показал, где их клад. Самоварную трубу миномета достали, всего два раза нырнув в прохладную воду, вовсе не такую уж страшную, какой она была на вид, неживая в эту безветренную минуту. А двухпудовая плита не давалась. Ее уже

обволокло скользкой тиной и засосало так, что не оторвешь. А глубина! Голова Зотова еще выглядывала из воды, а Лаврухин держался за его плечо. Пыхтели, задыхались, а все без толку. Миномет же мог потребоваться в бою сегодня... Так думал лейтенант Зотов. Несколько иной склад и ход обретали мысли у Лаврухина.

— Другой бы вместо вас, товарищ лейтенант, взял бы и плюнул на этот миномет...

— Как так плюнул?! — поразился Зотов, не поверив тому, что слышит.

— Я и говорю — другой! Но не вы!.. Потому что может быть так, что через час миномет понадобится в деле... О!

— Вы же сами кричали вчера — достанем!

— И достанем! Неужели нет? Оставим боевого друга тут, на дне озера? Ни в жизнь! Да пусть нам два новеньких дадут, а старый все равно не бросим никогда!

— Не пойму, на что вы намекаете, Лаврухин, но — ныряем еще разок. Раз, два...

— Нет, товарищ лейтенант. Я скажу, что чувствую, без намеков. Ныряй не ныряй, а вдвоем не справиться. Обсчитались!

— Три! — скомандовал Зотов, и нырнули, но опять неудачно.

— Без коня не выудим! — заладил Лаврухин. — Ступайте за конем. Или пошлите — я сбегаю, товарищ лейтенант.

Сначала Зотов пропускал его хитрые советы мимо ушей, а потом, отфыркиваясь от капель на губах, велел:

— Ну, тогда просите подводу. На ней и миномет привезем.

За ночь подтянулся обоз. Когда они вышли из хаты, кухни уже дымили, повара закладывали завтрак для еще спавших солдат.

— Может, сами, товарищ лейтенант?

— Бегите, Лаврухин.

Тот камыш, из которого выбрались войска, солнце уже наращивало острыми лучами, вразброс летящими по всему небу. Станиоль озера заблестел. Зотов натянул кальсоны, подвернул их выше колен и, как в трусах, присел на траву, глядя туда, где было гиблое место. Было приятно просто так сидеть и ждать солнца.

Жизнь его складывалась необыкновенно. Сейчас достанут миномет и через несколько дней войдут в Темрюк, которого месяц назад достигало лишь воображение. На войне даже воображение обкрадывается чересчур жесткими границами, а теперь ему уже поддавался заболотный простор. Черное море, крымские курортные города, которые почему-то все были на одно цветущее лицо, а там — Севастополь.

Зотов не старался представить себе этот город, потому что на самом деле все равно все будет лучше. Он любил фантазировать, доверял даже буйным вымыслам, но возникали случаи, когда не оспаривал у жизни права делать по-своему. И лучше. Пусть и разрушенный,

Севастополь был невообразимый. Нарисовать себе его — это все равно, что пытаться представить, какие испытания переносит во время войны солдат. Сколько ни усердствуй, а от правды будешь далеко. Он, солдат, выносил и невообразимое, да столько, что ни один святой вынести не смог бы, застал бы давно: сдаюсь! А твоя жизнь шла рядом с солдатской и была почти такой же. И поэтому ты можешь благодарить судьбу, Паша. Тебе не придется укорять себя.

Солнце показало верхний край из-за земли, и утро сразу распахнулось во всей своей полноте. И тут же подумалось, что это не утро, не земля, а жизнь распахивалась во всей своей полноте, и всему причиной была Ася. Она делала его сильнее, а значит, счастливей.

Когда окончится война, он что-нибудь необыкновенное придумает для нее. А что? Вишню будет рвать с верхних веток, он же длинный...

Он сидел, будто в детстве, у солнечной воды. Отражения облаков, тронувшихся с рассветом в свой далекий путь, завалили озеро, как в детстве заваливали реку. Зотов улыбнулся сам себе и в том конце озера, откуда никого не ждал, услышал людскую речь. Глянул туда, соображая, что речь-то немецкая. Три фигуры, выбравшись из камышей, стояли в воде по пояс и держали руки на автоматах, висевших на шеях. Солнце било им в затылки и улетало, проскальзывая сквозь небритую щетину на щеках, казавшуюся от этого света одинаково рыжей. Автоматы повернулись к нему. Зотов подумал: немцы, отставшие от своих, конечно, ищут, кому бы сдаться в плен.

Но сейчас же отшел это. Они могли вовсе и не искать, кому сдаться, а всего-навсего пробирались через плавни, догоняли своих. Зотов упал на бок и вытянул руку за автоматом, он помнил о быстроте, но раньше, чем он дотянулся, автоматы на чужих шеях захлестали обжигающим огнем...

Станица пробуждалась меж тем.

Верно, на всю жизнь запомнят местные, как началось у них это утро. Солнечный восход встретили два гармониста. И пошли навстречу друг другу, совершая по пути стихийную побудку. Даже те, кто выскакивал на ступени обгорелых крылец, чтобы поругаться, ахали и спешили обмундироваться, заодно будя остальных.

Разгневанного комбата тоже вынесло на крыльцо сказать два своих слова, но люди, вылезшие из хат, так и не узнали, что думает он о сие и музыке. Оба гармониста, шедшие по станице с разных сторон, встретились у его крыльца. Ординарец уже держал гимнастерку и сапоги комбата. Натянув их на себя и огладив нерасчесанные черные волосы, Романенко сошел с крыльца, невольно посмотрел под ноги и почти неверяще крикнул:

— Земля, ребята, земля!

И притопнул по ней ногой, точно проверяя, не обман ли это.

А через минуту чуть ли не вся станица плясала. Среди пепелищ, развалин и нескольких уцелевших хат она была башмаками, сапогами

и голыми подошвами в землю. Гармонисты шпарили в лад, потом, давая передохнуть друг другу, по очереди, а пляска все не кончалась. Куда там! Плясали, не останавливаясь и не заботясь о гармонистах.

Солдаты, затеяв переплясы с девушками и женщинами, нашлепывали себя ладонями по коленям и груди. И, конечно, безобидно оттесняли местных дядек и подростков, да все с усмешкой, а то и смехом летавших по площади из края в край. Были, правда, тут и серьезные плясуны, вроде Веника, военфельдшера-усача, который и так и этак обхаживал дородную свою партнершу в клетчатой кофте, вот-вот обнимет, а та ему не поддавалась, увиливала, прошмыгивала, пока, умаявшись, не поцеловала в пушистые усы, закричав:

— А мягкие-то!

Дядьки, уступив в пляске солдатам, тем не менее выкругляли грудь колесом, выставлялись, показывая богатырскую сечу и рубя на скаку.

Музыканты, доказав, что руки слабее ног, опускали гармони, но толпа все одно плясала. Лучше всех было дедку, который вприсядку вертелся вокруг самого себя с балалайкой, треща на одной-единственной струне, прыгающей под его морщинистыми пальцами.

Взяв подводу, Лаврухин подъехал к площади, чтобы найти Асю и предложить ездку на озеро, к лейтенанту. Слух шел, что войскам из плавней дают сутки на отдых в станице, пока подтянутся артиллерия и боезапас. Лаврухин спрыгнул с подводы, и его сразу закружило, вот и он уже взмахивал толстыми руками по бокам круглого тела, рассыпая мелкую дробь подметками. Только глаза помнили об Асе, высматривали и не находили ее.

Ася стояла на другом краю площади, за мелькающей толпой, и тоже искала глазами. Лейтенанта Зотова, Пашу. А перед ней, вьсь напружиненный, с азартной статью и повадкой, встряхивая черными кудрями, вышагивал Романенко, притоптывая ногою и приговаривая все громче:

— Я тебе обещал! Пляши!

Здесь ее и нашел Лаврухин, и не испугался посоперничать в пляске с самим капитаном, и на каком-то повороте, оказавшись с Асей лицом к лицу, сказал, что сейчас едет к лейтенанту. Она обрадовалась, хотя еще вчера знала, что он жив, его видели в станице, а больше ей ничего не надо было. Она и вчера и сейчас, на подводе, удивленно не понимала того чувства, в которое не верила, а оно было. Он, Зотов, поселился в ней. Не в голове, не в сердце, а в каждой клетке. Сейчас она его увидит.

Когда подъехали, Зотов съезжился на зеленой траве, едва начавшей цвести с верхушек, спиной к минометной трубе, а неживым лицом к ним. И рука была протянута к ним. А под грудью насочилась темная кровь.

— Е-моё! — без голоса протянул Лаврухин.

— Паша! — закричала Ася, как она всего раза три успела назвать его, живого, а теперь повторяла: — Паша! Паша!

Она припала к нему, обхватив окровавленную спину, прижимаясь к ней и к груди то одним ухом, то другим, и не веря, что сердца его совсем не слышно.

— Па-а-аша-а!

Что же это? Лучше бы ее убили. Как же она будет жить? Сегодня, завтра? «Лучше бы меня! Лучше бы меня...»

Она долго не могла шевельнуться, прильнув к нему, а потом помогла Лаврухину положить его на подводу, заваленную камышом. Она ни о чем не спрашивала, хотя ничего не понимала. Так и не сказала ни слова, и Лаврухин молчал, только одно колесо скрипело, а остальные виляли.

Вот гармони донесли до слуха, и Лаврухин спросил:

— Накрыть плащ-палаткой?

Она не ответила, и он накрыл. Под плащ-палаткой исчезли босые ноги, и Ася ухватилась за переваливающийся угол подводы, чтобы удержаться.

— Паша! — заплакала наконец она, слезы появились на ее голубых глазах.

Долетело, как ноги пляшущих били по земле. Этого не слышал только он один, хотя станица становилась все ближе и земля, что называется, гудела. Еще бы! Она была твердой.

Дмитрий Михайлович Холендро

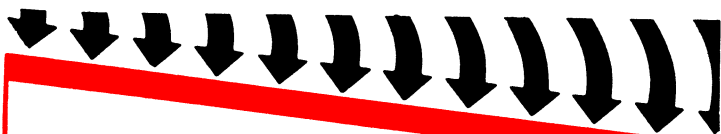
ПЛАВНИ

Редактор — **Е. Ф. Олейник.**

Технический редактор **Е. Н. Щукина.**

Сдано в набор 02.09.81. Подписано к печати 11.11.81. А 00460. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,21. Тираж 100 000 экз. Изд. № 2575. Зак. № 1209. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



СПОРТЛОТО

Спортивная денежно-вещевая лотерея «Спринт» популярна в стране. Доходы от лотереи направляются на развитие физической культуры и спорта, строительство спортивных сооружений.

Несколько секунд требуется, чтобы узнать, выиграли вы или нет. Выигрыш обозначен на билете.

Ежегодно в «Спринте» разыгрывается около 3 тысяч автомобилей, в том числе «Волги ГАЗ-24», «Жигули», «Москвичи», «Запорожцы», 660 мотоциклов и денежные выигрыши — от 1 до 10000 рублей.

В лотерею «Спринт» выигрывает каждый пятый билет. Стоимость билета 50 копеек, в специальных выпусках 1 рубль.



Главное управление спортивных лотерей

